

Urbi: Литературный альманах. Выпуск пятнадцатый

ОЧЕРКИ

*о названиях
и пространствах
России и ее окрестностей*

Санкт-Петербург, 1998

**Вышли из печати
следующие выпуски альманаха «Urbi»:**

пятый (1995, 256 с.)

Начало романа Александра Пятигорского «Вспомнишь странного человека...», повесть Владимира Симонова «Борис в Кяхте», рассказы Евгения Каминского, Михаила Окуня и Владимира Садовского, публикация фрагментов книги Александра Кондратова «Трудно быть йогом», работа Анатолия Барзаха «Такой» (*заметки о поэзии И. Ф. Анненского*), эссе Игоря Померанцева, Н. Лукаса, Ры Никоновой-Таршис и Кирилла Кобринина, «Хармсинки» Вадима Демидова, стихи Александра Казанского, Владимира Эрля и Армена Дилана, публикация фрагментов «Апокрифов Феогнида» Н. Л. Уперса.

шестой: «Баген-Баген» (1996, 176 с.)

Радиокомпозиция Игоря Померанцева «Любимцы господина Фабра», глава из романа Юрия Якимайнена «Авантюрюга», «Голубая повесть» Светланы Богдановой, сказка Мари-Катрин д'Онуа «Лесная лань» (перевод И. Ниновой), воспоминания Михаила Ивина, новеллы Михаила Окуня, Владимира Садовского и Артура Кротова, эссеистика Владимира Климычева, Кирилла Кобринина, Валерия Хазина, Ры Никоновой-Таршис и Игната Филиппова, стихи Ханса Боланда, Юрия Шилова, Игоря Павлова, Марата Басырова, Владимира Симонова, Александра Леонтьева, Людмилы Клементьевой, Дмитрия Унжакова, Алексея Машевского, Алексея Кирдянова и Алексея Калинина, «Ода к Совершенной» Юань Чженя (перевод Александра Сторожука).

седьмой: «Труды Феогнида» (1996, 128 с.)

«Апокрифы Феогнида» (*публикация, предисловие и подготовка текста Алексея Пурина*), «Стансы Феогниду» (*перевод и послесловие Алексея Машевского*), «Апокрифический комментарий к „Апокрифам Феогнида“», эссе Кирилла Кобринина «Крымские каникулы Николая Уперса», послесловие составителя, приложение («Стихотворения Николая Уперса», подготовленные Алексеем Пуриным, и «Uperiana», куда входят публикации Александра Леонтьева и Алексея Кирдянова).

из **urbi** возгорится **orbi**

Urbi

*Литературный альманах
издаваемый
Владимиром Саговским
под редакцией
Алексея Пурина и Кирилла Кобрин*

выпуск пятнадцатый

Нижний Новгород • Санкт-Петербург

ОЧЕРКИ

*о названиях
и пространствах
России и ее окрестностей*

Санкт-Петербург, 1998

ББК 84. Р2

У 69

У 69

Urbi: Литературный альманах. Выпуск пятнадцатый:
**Очерки о названиях и пространствах России
и ее окрестностей.** — СПб.: АО «Журнал „Звезда“»,
1998. — 208 с.

ISBN 5—7439—0035—3

Почтовые адреса редакции:

Россия, 198005, СПб., а/я 69;
Россия, 603043, Нижний Новгород,
проспект Кирова, 4, кв. 9, Кириллу Кобрину

Набор *А. Г. Алцмулова*
Компьютерное макетирование *Н. П. Егоровой*
Корректор *Ф. Н. Аврунина*

Лицензия на издательскую деятельность
ЛР № 062572 от 29 апреля 1993 г.

Издательство «Журнал „Звезда“»
191028, Санкт-Петербург, Моховая ул., д. 20.

Подписано к печати 10.12.97. Формат 60х90/16.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 13. Тираж 300 экз. Заказ № 331

Типография АООТ «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева».
195220, Санкт-Петербург, Гжатская. 21

ISBN 5—7439—0035—3

© Кирилл Кобрин, составление, 1998

© Алексей Пурин, составление, 1998

© Владимир Садовский, составление, 1998

ОЧЕРКИ О НАЗВАНИЯХ

Андрей Сергеев

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА «АЛЬБОМ ДЛЯ МАРОК»

СЕМИЛЕТКА

С четвертого по седьмой — тягучая смена состояний: страх — растерянность — настороженность — привыкание — обалдение — скука.

Школа — однородная, серая, безличная среда. Даже если тебе дали по рожке, в этом нет личного отношения. Тот, кто дал, ничего против тебя не имеет. В основе всего не живая жизнь, а некогда установившийся ритуал.

Ты приближаешься к школе. Во дворе рядом с толпой обычно плачет младшеклассник. Старшие всенепременно сворачивают, подбегают:

— Кто тебя? — и, не дожидаясь ответа, несутся дальше.

Тыходишь в класс, и на тебя обрушивается орава орущих:

— Драки-драки-дракачи,

Налетели палачи!

Кто на драку не придет,

Тому хуже попадет!

Выбирай из трех одно:

Дуб, орех или пшено!

Дуб — *получай в зуб!*

Пшено — *но! но! но! но!* — с погонялками.

Орех — *на кого грех?*

— На Зельцера, на бздиловатого!

В классе стыкались, шмаляли в морду мокрой тряпкой, толкли мел, валили в чернилки карбид, харкались в трубочку жеваной бумагой или — пакостно и от сытости — хлебом с маслом.

Фитиль из-под земли вдруг вскидывает руку — ты вздрагиваешь, Фитиль расплывается:

— Закон пиратов! — крестит: приставляет пальцы и бьет ладонью в лоб, под дых, в оба плеча с заходом локтем под челюсть.

На уроке подзатыльник сзади и шепотом:

— Передай!

Над головою ладонь и тихо:

— Висит!

— Бей! — успеваает сосед, и ладонь опускается.

На первых партах гудят или натужно рыгают — особое искусство. На средних — под партой играют в картишки, подальше — из рогатки стреляют в доску и по флаконам. Рогатка — резинка с петельками на большой и указательный. Сжал кулак — ничего нет. Стреляют бумажными жгутами, злодеи — проволочными крючками.

На камчатке, очнувшись от одури, замедленно удивляются:

— Странная вещь,

Непонятная вещь...

По рядам шорох — продолжение известно:

...Отчего моя жопа потеет?

— Оттого, что сидеть,

Головою вертеть

Запретить нам никто не посмеет!¹

Для душ попоуще —

негромкое сетование: — Грррудь болит...

сочувствие: — В ногах ломота...

мысленно: — Хуй стоит,

Ебать охота.

Для характеров поактивнее — возглас: — За!

подхват: — лу!

хором: — пешка!

На уроках я всматриваюсь, ищу интеллигентные лица, вслушиваюсь, стараюсь не пропустить благозвучную фамилию — тщетно.

На переменах, во время буйства я съезживаюсь, ощетиниваюсь. С Большой Екатерининской я вынес ожидание каблука, который меня, амебу, раздавит.

Ощетинившись, съезживаюсь — и мне прозвище: *Ёж*, *Ёжик* — недобро.

Антисоветчик Александров меня за сутулость: *Горбатый Хер*.

Из долгопрудненской жестяной коробки всем раздаю дефицитные перышки.

Всем подсказываю, подсовываю списать.

Сержусь, что сосед-татарин не способен скатать диктант или контрошку.

Все время в напряжении. Руки прижаты к бокам. Из подмышек сбегает холодными струйками пот. В школе — чувство физической грязи. Я брезгаю казенными завтраками — зараза, стараюсь не заходить в уборную.

¹ У Тынянова в гимназии было похожее: он нашел прототип в стихах Федора Глинки.

С последним звонком срываю со стены пальто — вешалка тут же в классе — и домой.

После второй смены по темным улицам страшно. Ничего, когда по пути с кем-то. Когда один, мамино / бабушкино: *вон идет человек, смотри, чтоб он тебя не стукнул.*

На темной улице отнимают учебники: большие деньги на рынке. Я учебников не носил.

— Ты домой прибежал прямо в мыле. Я тебе по четыре рубашки на дню меняла. (!?)

Придя, всегда слышал:

— Опять еле можаху? Сейчас ужин будет, а ты пока прими положение риз.

И куда я так стремился? Мне ведь нужно было к утешительному занятию, чтобы один и в покое. Покой был, весьма относительный. Один — втроем на тринадцати метрах — я почти никогда не бывал. Делая уроки, громко выл, чтобы заглушить телефонные разговоры, соседское радио. На улицу не выходил: за зиму на Большой Екатерининской слабые дворовые связи отсохли.

В школу шел нехотя, загодя, по Второй Мещанской: Третья, ближе, была унылая, разве что в середине желтый особняк, бывший солиста Большого театра. Еще помню у двери латунную доску с орлом, да по школе бродят кремовые лакированные конверты: АМБАСАДА ЖЕЧИПОСПОЛИТЕЙ ПОЛЬСКОЙ В МОСКВЕ.

Раз у Филиппа-Митрополита навстречу мне совсем ранний:

— Заболела! Уроков не будет.

Сколько раз я потом у Филиппа-Митрополита сам решался и заворачивал: *заболела, уроков не будет.*

Сколько раз сам сказывался больным. Когда врешь, что болен, заболеваешь вправду. Было чем: бабушка /мама оберегали меня.

Блезнь — это чистая совесть, покой, законное утешительное занятие — чтение. В который раз *Облако в штанах* и *Хулио Хуренито*. Новое: Гоголь. С девяти лет Гоголь яркостью и искусством удивительных слов стал любимым на всю жизнь.

Третий класс. Сталинская красotka — перепись, надо лбом валик, маленькие глаза, большие щеки:

— Баба-Яга в ступе едет, помелом следы замечает.

— Людмила Алексеевна, что такое ступа?

— Это тележка такая.

Она или вроде нее:

— В городе — кварта́л, в году — кварта́л.

ДНЕВНИК:

25 декабря 1944 г.

...учусь в IV кл. в 249 шк., куда перевели наш класс из 254 шк. Школа не очень хорошая. Однажды я с товарищами убежал с 4-го урока не хотелось оставаться на 5-й урок, на следующий день нас

вызвали к директору. Итог: 2-х исключили, 5-х простили. Меня простили. Учителей зовут: по-русски — Яков Данилович, арифметика — Клавдия Александровна (*Рубль-сорок*), история — Тамара Павловна, естествознание — Ираида Никифоровна (*Живородка*), география — Ирина Самойловна (*Царевна-лягушка*), рисование — Борис Иванович, воен. дело — Яков Сергеич. Военрук ухаживает за Ириной Самойловной...

Конечно, что та, что другая школа — обе не очень хорошие.

254-я — сталинская четырехэтажная, с квадратными окнами — на случай войны под лазарет, десятилетка. Директор, старый, Иван Винокуров, провинившихся долбит ключом по темечку.

249-я — два этажа пятиэтажного жилого модерна, семилетка. Директор, слепнувший минер с двадцатью шестью осколками, оставляет на час-два-три после уроков, дотемна, до ночи, пока самому сил хватает:

— Кто разбил окно — встать!

Все сидят.

— Кто не разбивал окно — встать!

Все встают.

Сначала просвет: Яков Данилович, литератор, с фронта, только что руки-ноги целы. Интеллигентные очки, ямочка на подбородке:

— Кто знает, откуда произошло слово *алфавит*? Может, кто догадается? Кто из вас учил иностранный язык?

— Какая у тебя самая любимая книга?

Я, как положено, полным ответом:

— Моя любимая книга — роман Гоголя *Мертвые души*.

— *Мертвые души* не роман. Это поэма.

И мне радостно, что поэма.

Он продержался недолго: только что руки-ноги целы. Несколько раз его замещал еврей, опухший, в очках — такой в переулке попросил у мамы двадцать копеек, и она дала ему рубль: несчастный. Класс не ставил его ни во что, игнорировал или глумился:

— Швейка пришел! Швейка!

Он ничего не замечал и с нищим пафосом свистел межзубными:

— Вороне где-то Бог повлал кувчек виру...

Лидица видит вир, лидицу вир пленил...

Потом русский/литературу захимила арифметичка — старая, румяная, хромая: *Рубль-сорок*. Яков Данилович называл свой предмет «литературное чтение». Клавдия Александровна — просто «чтение».

Отчитала меня за *гитё* в изложении. Распекла Булекова: в диктанте *халат* написал *холод*. Булеков был последний китаец со Сретенки, сын циркача.

ДНЕВНИК:

28 апреля 1945 г.

Вчера наши войска в Германии соединились с союзниками. По радио говорили Сталин и Черчилль. Были салюты...

Сегодня в школе. На чтении Рубь-сорок вызвала Булекова и дала читать ему «1 мая», там фраза: «Вбежал Федя *Мазин* и в трепете радости...» Булеков прочел: «Вбежал Федя *Магазин* и в трепёте радости...» Рубь-сорок Булекову двойку, а ребята смехом сорвали урок.

На немецком читают чудовищней. Здоровенный дебил Франк на каждом *Ich* ухает, на *heute* радостно матерится.

Полкласса верит, что клеенка по-немецки — *das Puzdsc*, что *фарштеен* — это вообще. Подначивают:

— Спроси, как будет клеенка!

— Спроси, что такое *фарштеен*!

— Спроси, что такое *Муттер дайне зо*!

Дальше этого интерес к немецкому не подвигается:

— Не хотим учить фашистский язык!

Чванная немка Василиса Антоновна Чако оправдывается:

— Я не немка, я гречка.

Кто-то в немецко-русском нашел *Чако* — и о чем говорить, если с царя-гороха затвердили:

Их бина,
 Ду бина,
 Полено,
 Бревно.
 Что немка — скотина,
 Мы знаем давно.

Ираида Никифоровна, *Живородка* — по естеству — у передней парты:

— Слово *ботаника* происходит от греческого *ботанэ* — растение. *Ника* — сокращение от *наука*.

Глиста Панфилов с первой парты тянется пальцем к ее причинному месту. Весь класс — внимание. *Живородка*:

— Что тебя привлекает?

Грохот.

Хорошенькая географичка Ирина Самойловна, *Царевна-лягушка* — за ней ухаживает военрук — входит в класс. Закрывая дверь, естественно, на миг отворачивается — и тотчас в нее нацеливаются, летят фрейдовские бумажные голуби. Краснеет. Проходит к карте. Там переделано: *Джезказган* — *Джазказган*, *Соликамск* — *Ссаликамск*.

Как на брошюрах — *Госполитизгат* — *Госполипизгат*.

Мой сосед татарин Резванов рассказывает, как будет работать шпионом в МГБ, а пока дробит под партией. Я не понимаю, чем он занимается, но не спрашиваю, а он на одном прекрасном уроке наполняет своими молоками непроливашку и передает на стол Ирине Самойловне.

Гогот.

На военном деле — без уговору — парты вдруг наступают на военрука, окружают, теснят к окну. С парт медленно поднимаются. Военрук решает: сейчас выбросят — и, спасаясь, когтями насмерть вцепляется в передового.

Впереди всех, по иронии, как всегда, Зельцер. Наш единственный активист, носитель красной сеledки.

Отец Зельцера — директор типографии, и в бестетрадное время Зельцер в школу, в праздничный дом пионеров, на не имеющий отношения районный актив ходил с роскошными кожаными гроссбухами, на переплете и корешке золотом: ЮРИЙ ЗЕЛЬЦЕР.

Кроме него, пионерством в школе не пахло. Партийно-блатное: — Ответь за галстук! — отсохло за отсутствием кумача.

Красную сеledку я в первый/ последний раз — чужую — нацепил, когда нас перед выпуском из семилетки гуртом погнали в райком волкасьем. Антисоветчик Александров, думаю, не пошел. А я — ох, далекий — недели две глядел в зеркало, видел: Олег Кошевой. Меня, как отличника, избрали в бюро — я сбегал с него, как со всего школьного. Дружеское порицание мне вынес секретарь Зельцер.

Рыжий-красный —
Цвет опасный.
Рыжий-пламенный
Сжег дом каменный.

После военрукских когтей рыжий-пламенный недели три гулял с корябаной физиономией.

Военрук же так себя напугал, что на уроках читал нам вслух запретного желанного Мопассанчика (*Шкаф*) и *Лекции профессора Григоренко*.

Всегдашний, как школа, трактат (*Лекции профессора — обязательно, Григоренко, Григорьева* и т. п. — варьировалось) объяснял, как знакомиться, на какое свидание целоваться, на какое лапать, на которое — далее. Женщины по способу употребления подразделялись на вертушек, сиповок, корольков и бегунков. Профессор предупреждал: соитие дело серьезное, мужчина тратит столько энергии, сколько требуется для разгрузки вагона дров.

Не знаю, как для переростков, для большинства это была увлекательная экзотика — как что-то из жизни в Африке, вне личного секса, который существовал разве что на словах — или делал вид, что существует. Трофейные порнографические открытки вызывали любопытство и отвращение. Юные переписчики *Лекций профессора* слово *вагалище* передавали только как *логовище*.

Тамара Павловна ведет истерику. По Григоренко, она сиповка. Говорят, что она водит к себе летчиков.

На карте древнего мира *саки* — само собой — *ссаки*.

Средние века: *Мой вассал твоему вассалу в глаза нассал*.

Новое время — ДНЕВНИК:

24 апреля 1945 г.

...У меня с Тамарой Павловной Смирновой, учительницей истории, нелады. Сегодня она у меня съела. «Сергеев, не смей, мерзавец, разговаривать!» — орет. «Дай, противный мальчишка, дневник!» Дал я дневник и говорю: «Тамара Павловна, оставьте место в дневнике, чтобы уроки записать», — и это говорю самым спокойным тоном. Морда у нее вытянулась, как у селедки. В растерянности она орет: «Пересядь на последнюю парту!» Я: «Пожалуйста, если доставлю вам удовольствие», — тоже очень спокойно. А потом, сука, प्रदेशивлась — вызвала отвечать и поставила 5. Сегодня получил 5 по русскому устному и по чтению.

История непосредственная — ДНЕВНИК:

9 мая 1945 г.

День Победы.

ОКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА

9 мая в 00 час. 45 мин. немцы безоговорочно капитулировали перед союзниками!!! Война началась 22 июня 1941 года в 4 час. Окончилась 9 мая в 00 час 45 мин. 1945 г.

Добросовестная, казенно-обрадованная фиксация. Окончание войны куда как менее зловещно, чем происшествие на уроке истории. Мне показалось, что день победы школа восприняла на уровне классных объявлений завуча или дерика.

В седьмом классе дерик, слепнувший минер с двадцатью шестью осколками, преподает конституцию. Мы: *проституцию* — по созвучию, без задней мысли и опасений. И каждое пятое декабря простодушно и громко: *день сталинской проституции*.

В начале урока с нас требуется политинформация. Я их сочинял всем желающим. Раз вместо *предатель индонезийского народа Джоядининград*, написал *предатель индонезийского народа Вульвовагинит* (слово из энциклопедии). Резванов, не ведая, читает. Дерик, не вникая, слушает.

Потом он рассказывает, что Москва — самый зеленый город в мире, только деревья не в самом городе, а вокруг. Что мы самые лучшие в мире, и все люди и все народы дружат друг с другом. Поэтому мысли у нас чистые, и мы с душой относимся к своему делу.

Тихо сидят, заняты своим делом:

книгожор сытая морда Бакланов переписывает из чужой в свою записную книжку: Луи Буссенар, Луи Жаколио, Густав Эмар, капитан Марриэт, Георг Эберт, Александр Беляев...

глиста Панфилов лобуется л а п и н с к и м и открытками; злодей Глазков, горя глазами, пасьянсом выкладывает немецкую порнографию;

золотушный блатарь Просоданов лезвием вскрывает на руках чирьи, уверяет, что в них не гной, а вода;

крохотный переросток Хлебников, лет шестнадцати, спит: за утро он набегался по Центральному с папиросами: *Тройка — пара, рубль — штука!* Перед уроками он уютно поштывкал на пар-

те — четвертинка и хлеб с луком. В парте у него финочка с наборной ручечкой — таких на класс штук пять, а то меньше.

Это русские, так сказать, норма.

Отсчитывая от нормы, быть китайцем — несерьезно, татарин — неблагородно, армянином — занятно, евреем — вполне уважаемо: с кем же еще дружить русскому? И как остроумно:

— Два еврея ссут в проходном дворе.

— Абрам, почему ты ссышь так, что тебя не слышно, а я ссу так, что меня слышно?

— Потому что ты ссышь на доски, а я тебе на пальто!

Только антисоветчик Александров мог прошептать сзади в ухо:

— Мойсе, ты мене не бойсе, я тебе не укушууу...

Ничего против евреев не было в присказке:

Народная драма —

Иван убил Абрама.

Как не было самоиронии в давнем:

— Руссиш, культуришь?

— А хули ж! —

ибо оно было слишком сродни первопятiletочному:

— Ты куришь?

— А хули ж!

— Баб ебешь?

— А что ж!

— А водку пьешь?

— Поднесешь?

— В церковь ходишь?

— Хуль хуёвину городишь!

Быть айсором — привилегированно. На партах сидят — по двое, по трое, только Шалита — один: а вдруг посреди урока ему захочется поразмяться, повыжаться на руках, попрыгать над сидением вдоль. Учителя делают вид, что не замечают. Дерик тоже боится. Айсоры с Лаврских по вечерам устраивают побоища у *Форума/Урана*, наводят атаңду на весь район:

— Нас мало, но мы армяне.

В устной традиции они — *армяшки с Самотеки*. При всей своей злобной капризности отзываются и не обижаются на *армяшку*.

Рисование, последний урок, поздний вечер. Борис Иванович объясняет:

— Бежевый цвет это все цвета понемногу — в разбежку. Поэтому — бежевый.

Он поворачивается к нам от таблицы, и в этот момент злодей Глазков заклепывает ему в лицо мокрой тряпкой. Борис Иванович бежал. Что мог он поделать?

Сын замнаркома Алексеев, развалясь, на уроке потягивает из четвертинки сквозь соску. Замещающая училка, старая дева с

прононсом, боится глядеть в его сторону: встретясь глазами, Алексеев проворчит:

— У, брюзлая пизда!

На Алексеева с соской в середине урока входит инспектор, морщинистый Ваня Маштаков, — и забирает с собой к директору. Старая дева с прононсом машинально:

— Тю ля вулю, Жорж Дандэн!

Взрыв. Тю-лю-лю покрывает старую деву вечным позором. А сын замнаркома возвращается в класс триумфатором.

На переменке маленький Юрка Вятков бегаёт над проходом — левая нога на среднем ряду, правая — на правом. Кто-то его случайно толкнул или он сам оступился... Завуч Белла Семеновна завернула его в свою шубу и по снегу потащила к Склифосовскому — за два длинных квартала. На следующем уроке переключка:

— Вятков!

— Нет!

— На прошлом уроке он был.

Антисоветчик Александров:

— Он яйца себе разорвал!

Хихиканье.

— Не понимаю, что тут смешного. Каждый мужчина имеет при себе пару яичников.

— Вам привет от трех лиц!

— ?

— От моего хуя и двух яиц!

Это покупка. Покупок много:

— Поехали!

— Куда?

— Армяшке жопу чистить!

Покупка семинаристская:

— Разгадай сокращение ДУНЯ.

— Я не могу...

— Дураков У нас Нет. Понял?

— А как же Я?

— А ты дурак. Эт' точно.

Покупка на сдвиге:

— Ты что, сегодня уху ел?

— Не.

— А на вид совсем ухуел.

Покупка с насилием. Звонок в нос:

— Барин дома? — Испуганный кивок. Глядя в глаза: — Гармонь готова? — Еще более испуганный кивок. — Поиграть можно? — и за оба уха в стороны изо всех сил.

Покупка злодейская. Новенькому:

— Чтой-т' от ти'я вином пахнет. Дыхни! — и лопух получал в рот скопленный сгусток харкотины.

Родом покупки и внезапным проявлением ритуала было, когда в проходном дворе Глазков неожиданно, ни с чего — речь шла о другом — спохватился:

— Эт' Сережа налягавил. Тёмную!

На голову мне накинули чье-то пальто и небожно побили. Небожно, ибо знали, что я не лягавил, — да и лягавил ли кто? — а когда отправили ритуал, то назавтра общались со мной, как будто ничего не произошло.

Шакальство тоже могло быть покупкой, но открывало возможность для особо махрового ритуала.

Шакал подкрадывался к жующему и врасплох:

— Сорок два!

— Сорок один! — должен с ходу ответить жующий: — Ем один! — и шакал по закону должен был отваливать.

В уборной шакал подходил к журыке и начиналось:

— Оставь!

— Остап уехал за границу,

Оставил хуй да рукавицу.

— Ну дай!

— Полай!

— Дай, баля!

— Всем давать —

Не успеешь портки скидывать!

— Дай я те без смеха в карман наассу!

— Чо?

— Хуй через правое плечо,

А если горячо —

Перекинь через левое плечо!

— Будь другом,

Насри кругом.

Будь братом,

Насри квадратом.

— Пошел ты на хуй!

— Ты мене не ахай,

Тут тебе не родильный дом.

— Зажал, етит твою мать!

— Чем мать,

Проще кошку поймать,

Легче выебать.

— А я ёб твою мать!

— Свою — дешевле обойдется!

— Забожись!

— Приложись!

— Забожись, баля!

— Я божусь,

Когда спать ложусь.

— Дёшев будешь!

— Я?

— Ты.

— Ты мене не тычь,
 Я тебе не Иван Кузьмич¹.
 — Пошел в пизду!
 — Давай денег на езду!
 — Садись на веник,
 Поезжай без денег.
 — А у веника сучки
 Тоже просят пяточки.
 — Басник ты, басник,
 Ёб тебя колбасник,
 А лежа на подоконнике,
 Ёб тебя покойник!
 — Мы таких говорунков
 Сшибали хуем с бугорков,
 А на ровном месте
 Сшибали штук по двести! —

Рифмованные диалоги, блочное красноречие не для истины или выгоды, но искусство ради искусства, почти поединок акынов — по сути своей ритуал и сгущенное проявление словаря перемен и уборных.

МОЙ БОДУЭН

АТАНДА, АТАС — *Атас, дерик!* Шутка: *Атанда, кошка серит! ЦДКА на кубке на них такую атанду наведет!*

БАРДАК — *Город — каменный бардак, а люди — бляди* (якобы Маяковский). Шутка: *Кавардак — тот же бардак, только без блядей.* Бардачина. Иногда вместо бардак: бар. В школе верили, что пивной бар на Пушкинской площади — бордель.

БАРЫГА — *Панфилов, барыга, открыточек надыбал себе* (с неодобрением).

БЗДЕТЬ — 1. *Дели в рот набздели.* 2. *С Глазом хоть кто забздит стыкаться. Бздун гороховый. Бздиловатый конёк. Это ему бздимо* сказать. 3. *Ну эт' он те набздел!* (наврал). *Бздишь!*

БИЛЛИАРД — *Карманный билиард* — то же, что: *Скверная привычка — как в карман, так за яичко.*

БЛАТНОЙ — *Ты блатной или голодный?* (свой, имеющий право на некие привилегии)? Блатарь. Блатняга.

БЛЯДЬ — Блядь-дешевка. Блядина. Блядыга. Блядыща. Проблядь. Блядский. Блядовитый. Блядовать. Божба: *Блядь буду! Бля буду! Баля буду! Блядем буду. Блядем буду, не забуду / Этот паровоз, / На котором Чиче-Бриче / Чемоган увез!*

БОДАТЬ — *Забодал за тыщу тиснутые бочата* (продал краденые часы).

¹ Имелся в виду Владимир Ильич.

БУФЕР — *Какие у вас плечи, / Какие буфера, / нельзя ли вас пощупать / Рубля за полтора?*

БУХАТЬ — *Ну, теперь они чемпионы, набухаютя!* (напьются водки). Бухой. Бухарь. Бухарёк.

ВОЗИТЬ — *А потом мы мента извозили* (унизительно избили).

ВРОТ — существительное от «в рот» (без мыслей о сексе): *Врот нехороший. Дешевый врот. Ёбанный врот.* Шутка: *В рот тебе тирьём кило печенья!*

ГАД — милиционер, враг, доносчик. Божба: *Гад буду!*

ГАЗЕТА — *Чтобы залепила газетой и никому не давала. Хуй соси, читай газету — будешь прокурор!*

ДЕШЁВКА — *Военрук, дешевка, опять нам Мопассанчика почитал! Военрук, дешевка, забздел нам Мопассанчика почитать!* Божба: *Дешёв буду!*

ДОХОДИТЬ — *Вятков опять на географии доходил* (потешал собой). *Вятков доходяга, опять географию сорвал.* Доходной.

ДРОЧИТЬ — 1. *Панфил из автомата Ираиду грочил* (дразнил, доводил). 2. *В 6-Б полкласса грочит.*

ЕБАТЬ — обычно без мыслей о сексе. Божба или изумление: *Ебать мои кальсоны! Дедушка Калинин / В рот меня ебать, / Отпусти на волю, / Не стану воровать.* Ёбанный. Шутка: *Ёбанный-сранный. Закрой свой ебальник!* (рот, без мыслей о сексе).

ЁБНУТЬ — 1. *Ёбнул по уху. Бомба в чердак ебалёзнула. Наёбнулся с велика.* 2. *Для смеху ёбнули у него чернилку* (украли).

ЖОПА — 1. *Прав, Аркашка, твоя жопа шире* (без мыслей о гомосексуализме). Анекдот: *сперматозоиды бегут вперед. Вдруг самый первый кричит: — Нас предали, мы в жопе! Отсюда два равнозначных выражения — Нас предали! и Мы в жопе! Мы из-за него в такой жопе оказались!* 2. *Он все о своей жопе думает* (корысти). Жопошник (жадный, корыстный до подлости человек).

ЖУКОВАТЫЙ — *Он жуковатый, смотри — полишет. У, жук!*

ЗАДАВИТЬ — *Задавлу, баля!* (неконкретная угроза).

ЗАЖИМАТЬ — *У Ковната Александров загачник зажал. Не зажимай! Зажал, пагла!*

ЗАЛУПА — *Залупу тебе!* (хуй тебе!) *Залупу конскую!* Шутка: *Ты мал и глуп и не видал больших за... труднений в жизни. Залупи-разлупи* — безнадежность, тупик, бессмыслица, ни то ни се.

ЗАЧЁС — стильная прическа, предмет гордости, так как в школе заставляли стричься под Котовского, даже без чубчика. Вышшая форма зачеса — *политический зачес.*

ЗЫРИТЬ — *Позырь по-быстрому, Василиса в учительской?*

КАТАТЬ — *Накатал сочинение в пол-урока. На перемене ска-тал у Сережи домашние задания.*

КИРЯТЬ — Бухать. Кирной. Никогда не слышал: кирюха.

КНОКАТЬ — *какие угодно значения: Ты в этом деле кнокаешь?* (соображаешь)? *Прикнокали домой к вечеру* (пришли). *Ну, я покнокал* (пошел). *Его в проходном дворе кнокнули* (подстерегли, убили и др.).

КОДЛА — *Всей коглой пошли на Динамо.*

КОНОЕБЛЯ — *После уроков опять коноебля: встать — сесть!*

КОТОВСКИЙ — *лысый или бритоголовый (по герою фильма).*

ЛОХАНКА — *У нее лоханка шире маминой (пизда).*

ЛЯГАВЫЙ — *Божба: Лягав буду! Лягаш, портки продашь, но-
вых не купишь. Лягавить.*

МАЦАТЬ — *Помацай у него в портфеле — есть завтрак?*

МЕНЕЧИК — *редкое, непонятное, чрезвычайно обидное руга-
тельство. Не связывалось с вротом.*

МЕТЕЛИТЬ, МЕТЕОРИТЬ — *Вчера у Форума армяшки гага
изметелили (без труда побили толпой).*

МИЛИЦИОНЕР — *Ты человек или милиционер? (противопо-
ложность бластного). Мильтон. Мент.*

МИРОВОЙ — *Вчера Спартачок мирово играл!*

МОЙКА — *С моечкой в кармашке спокойней (с бритовкой).*

МОПР — *На Осоавиахим опять собирали — ну, это в пользу
Мопра (неизвестно куда, впустую).*

МОЩНЫЙ — *Дерик у них мощный, после уроков никогда не
оставит. У Глазкова малокозырочка мощная. Мощный зачес.
Мощный фильм. Моща. Пятого урока не будет — моща! Жо-
рик — моща, будь спок, никогда не продаст.*

МУДАК — *Резван, мудака, у дерика отпроситься захотел! Му-
дило. Мудила. Жена его будила / Вставай, вставай, мудила! Му-
дила грешный.*

МУДЁ — 1. *У Бакланова муде жирное. Муди.* 2. *Муде несешь!*
(ерунду). 3. *Это ему муде! — то же, что: Это ему по хую!*

МУДОХАТЬ — *Зельцер забздел, что его измудохают (унизи-
тельно побьют).*

МУДОХАТЬСЯ — *Крылышки с Торпедо дополнительное время
мудохались (возились).*

НАБЛАТЫКАТЬСЯ — *Сережа в истории наблатыканный (на-
стропаленный).*

НАДЫБАТЬ — *Франк гондон надыбал (достал), пол-урока на-
гувал.*

ОПРЕДЕЛИТЬ — *налягавить. В ответ на резкое мнение о
ком-либо: Ты определитель?*

ОТОРВАТЬСЯ — *Оторвался с контрошки. Призыв: Отрыв
Петрович!*

ОЧКА — *от игры в двадцать одно, очко. Марочки у него —
очка! Сегодня мне всю дорогу очка.*

ПАДЛА — *У, пагла! Падлюка. Без мыслей о сексе, как эле-
мент блочного красноречия: Щё ты, пагла, тянешь, щё ты от-
тягиваешь, ни хуя не прибавлю!*

ПАРАША — *Ну, эт' параша (ложный слух). Пустили парашу.
Парашник — лжец.*

ПИДОРАЗ — *Зельцер, пидораз, опять с новым альбомом при-
шел! Пидорас (без мыслей о гомосексуализме).*

ПИЗДА — 1. *Пошел в пизду! Ты что, с пизды сорвался? Пиз-
дорванка. Пиздорванец.* 2. *Дело пиздой накрылось (погорело). Те-*

перь ему пиздец! 3. Эх ты, пизда! (мудак). Пизда-Мариванна. Пиздюлина от часов — ничтожно мелкий предмет.

ПИЗДИТЬ — 1. *После матча которых за Динамо — всех пиздили. Испиздячить. Дать пизды.* 2. *У Зельцера по новой «Географию» спиздили.*

ПИЗДИТЬ — *Брось пиздить! Не пизди! (не ври!).*

ПЙСКА — *Угроза: Попишу, баля! (порежу лицо бритвой).*

ПОГОРЁТЬ — *Динамовцам три мяча насовали, вот они и погорели!*

ПОНОСНИК — *Этот поносник не может в кино протыриться (презренный человек).*

ПРИДУРОК — *Булеков придурок, все слова навыворот читает (потешный, прикидывающийся дураком). Высшая степень: лагерный придурок. Ср.: Доходяга.*

ПРИЁБЫВАТЬСЯ — *Александров к жигам приёбывается (придирается).*

ПРИПУХАТЬ — *Киевское Динамо второй раз подряд припухает (проигрывает). Шутливое приветствие: Физкультприпух!*

ПРИТАРАНИТЬ — *Просоданов, доходяга, на урок тараканов притаранил.*

ПХАТЬСЯ — *есться.*

ПЫРЯТЬ — *Говорят, Хлеб пырял по карманам.*

РАЗГРУЖАТЬ ВАГОНЫ — *от лекций профессора Григоренко: есться.*

СВИСТЁТЬ — *Не свисти, никто не поверит. У него всю дорогу один свист.*

СВИСТНУТЬ — *На всем этаже свистнули мел и тряпки.*

СЕЛЁДКА — *Красная селедка (пионерский галстук).*

СКАЧКИ ЛЕПИТЬ — *У, Шалитик скачки лепит! (делает что-то громкое и опасное).*

СРАТЬ — 1. *Я с такой сукой срать не сяду! Люблю повеселиться, но более — посрать.* 2. *Насрал, говноед! (испортил воздух).* 3. *Не было этого! Срешь! (врешь!).*

СТАВИТЬ ИЗ СЕБЯ — *Бакланов ставит из себя (задается). Сережа ставит из себя научного профессора (изображает).*

СТЫКАТЬСЯ — *Так, значит, после уроков стыкаемся? (деремся один на один).*

СУКА — *Зельцеру, суке, ни слова! Божба: Сука буду! Сукоед — приятель суки.*

ТВАРЬ — *Он такая тварь! У, тварь! (междометное ругательство).*

ТИКИ-ТОК — *Будут у тебя марочки в понедельник тики-ток! (точно будут или отличные марочки).*

ТЙСНУТЬ — *У Просоданова на стадионе из кармана одеколон тйснули.*

ТОТ ЕЩЁ, ТА ЕЩЁ, ТО ЕЩЁ — *У Хлеба финочка та ещё! (высший класс).*

ТРУХАТЬ — *Александров всех экзаменов трухает. Затруханный.*

УРКА — Франка никто пальцем не тронет: у него отец — урка (сильный, смелый, резкий человек). Уркан. Уркаган.

ФИКСТУЛИТЬ — Напрямик не скажет — бабы, они пофикстулить любят (кобениться, ставить из себя недотрогу — про девушек).

ФИЛОН — Резванов, филон, всю дорогу диктанты скатывает. 5-А оставили после уроков класс мыть — дак они до огиннацати профилонили.

ФРАЕР — 1. Ковнат фраер, ему ничего знать не надо (чуждый, опасный). 2. Вырядился, фраер. Разряженный, как фрей. Фрей с гондонной фабрики (презрительно). Банфрей — особо шикарный фрей.

ХАВЕР — Ковнат — Зельцеров хавер (еврей — приятель еврея).

ХАВЁРА — 1. Квартира, где можно собраться; таковых не помню, дать пример не могу. 2. Хлеб опохмеляется в хавере на против пожарной части.

ХЁЗАТЬ — 1. С похмелья обхезался (жидко срать). 2. Ну, дериху он это обхезается сказать (струхнет). 3. Хезаешь! (врешь!).

ХИТРЫЙ — Хитрая задачка. На портфеле хитрый замок. На хитрую жопу — хуй с винтом (без мыслей о гомосексуализме). Хитрожопый — хитрый в практическом смысле.

ХМЫРЬ — Хмырь болотный. Хмер. Чмырь (ничтожный и веселый человек).

ХУЙ — 1. Хуй тебе в рот (в глаз, в нос, в жопу, в пизду — даже при обращении к мужчине). Шутка: Хуй тебе в сумку, чтоб не терлись сухари. Катись на хуй! Сокращенно и германообразно: Кат нах! Ты что, с хуя сорвался? Давай махатья — я те хуй в рот, а ты мне язык в жопу! Хуесос — ничтожество, мудака. 2. Сидит на скамейке здоровенный хуй. Подходит к Булекову какой-то хуй, ну, в общем, хмырь (человек значительный или ничтожный). У меня такая хуёвина получилась, прямо не знаю, что делать. Ну, это хуёвина, в три дня заживет (предмет или обстоятельство значительное или ничтожное). 3. А вот хуй ему! (ничего не давать!) Это ему по хую! (наплевать). Нет ни хуя. 4. Третий привод — теперь ему хуй! (конец). Ни хуя себе! (тупик или изумление). Хуёвая самописка. Можно ли хуем сломать губ? Можно, если хуй губовый, а губ хуёвый. Очкарик хуев.

ХУЛИ — А хули! (а что!) Шутка: Хули ты матом? Коленце блочного красноречия: Хули в Туле, я в Москве!

ХУЯКАТЬ — Сзади подошел слева, а хуякнул справа — он вправо и оглянулся. Хуякнулся с лестницы. Нахуйнулся в канаву.

ЦЁЛКА — Независимо от пола: Брось из себя целку ставить! Не ломай из себя целку! Шутка: Целка — два кирпичика, полгуда глины, еще целка!

ЧЕРВОНЕЦ — На Просоганове червонце-ев (вшей).

ШАКАЛ — Франк в уборке чинарики шакалит (клянчит, вымогает, отнимает).

ШАЛМАН — 1. Пошли всем шалманом (компанией). 2. Квартира, где можно собраться; таковых не помню, примера дать не

могу. 3. После уроков встречаемся в шалмане у дяди Гриши (за-бегаловке).

ШВОРИТЬ — еть.

ШТЁВКАТЬ — Дома поштейкать не успел, зажевал на ходу кусок черняжки (есть в свое удовольствие).

ШТЫК — Буду в десять, как штык!

ШУХЕР — Опять шухер — стекло разбили. Александров на проституции шухарил. Шухарно.

Ритуал, поведенческое злодейство, блочное красноречие, фольклор, словарь перемен и уборных выдавали

ПЕРВОЕ ВЛИЯНИЕ, под которым жила семилетка:

По широкой одесской дороге
 Николай Кучеренко шагал,
 Вооруженный наганом и финкой,
 И такую он песню напевал:
 Посещал я кафе-рестораны,
 Был налетчиком смелым на пути,
 Грабежи принимал без пощады,
 Убивал я прохожих на пути.
 А теперь я лежу в лазарете,
 Пулю вынули мне из груди,
 Каждый знает меня на примете,
 Что налетчиком был я на пути.
 Пойте, пойте, друзья, веселитесь,
 Вспоминайте вы друга своего —
 Раньше с вами был Коля Кучеренко,
 А теперь расстреляли его.

У половины моих одноклассников отцы сидели не за политику.

Облепивший школу снаружи и внутри, сплошной непролаз-ный мат был одним из существеннейших проявлений Первого влияния.

Учившиеся по Бархударову-Досычеву могли сделать вывод, что самое обширное гнездо слов происходит от корня ху.

Хуячил хуй по хуевой дорожке.
 Хуяк! Хуй на хуевой ножке.
 Хуякнул хуй хуя за хуй
 И захуянул его на хуй.

Мат гнали в хвост и в гриву и стирали до междометий:

Иду, бя,
 Смотрю, бя,
 Висит, бя,
 Блестит, бя,
 Хвать! бя, —
 Сопля, бя...

Неистребимый живучий мат караулил на устоявшихся стыках слов и злорадно поджидал на рифме. Более того, очищенный игрой, мат повышал тональность высказывания и сыпал яркие блики на всеобщую нечистоту и серость, частью которой являлся сам.

Покупка на эпиграф:

— Между ног болтается, на хэ начинается — эт' что? Эт' хобот!
А ты думал что?

Избранные сдвиги

Допотопное:

Пришел Мамай
Воевать в Сарай:
Впереди НАС РАТЬ,
Позади НАС РАТЬ,
И Сарая нам не взять.
Испугался Мамай
И С РАНОЙ побежал в Сарай.

Гимназическое:

СвеЖО ПО долине,
Туман над рекой,
И мноГО В НОчи
Прелести той.

Патриотическое:

НАС РАТЬ немецкая не победила,
И БИТВОЮ МАТЬ-Россия спасена.

Актуальные сетования на радио:

— Опять *Самое заветное И БАЛ в Савойе*.
— Опять хор мальчиков И БУНЧИКОВ.

Радостное заголение приема:

В морозы жизнь свою страхуя,
Купил доХУ Я на меХУ Я.
С дохою той дал маХУ Я —
Доха не греет ни хуя!

Допотопное на грани рифм-ловушек:

НА ССА-, НА ССА-,
НА ССАмом солнцепеке,
НАС РА-, НАС РА-,
НАС РАдует весна...

Гимназическое:

Итальянские министры
ПАПЕ СДЕлали визит,
ПАПЕ СДЕ-, ПАПЕ СДЕ-,
ПАПЕ СДЕлали визит.

Современное устервление кольцом:

ПАПЕ СДЕлали ботинки
На резиновой ходе,
Папа ходит по избе,

Бьет мамашу —
ПАПЕ СДЕЛАЛИ ботинки и т. д.

Рифмы - ловушки

Допотопное за гранью:

Укусила мушка собачку
За больное место, за СРА-
зу стала собачка плакать:
Чем же теперь буду я КАК-
тебе, собачка, не стыдно...

Разнузданное с до- и послереволюционными слоями:

Ехал на ярмарку Ванька-холуй,
Напоказ там выставил трехметровый ху-
лиганы на мосту поймали китайца,
Руки-ноги оторвали, вырезали я-
блочко на тарелочке,
Два матроса подрались из-за це-
лый день она хлопочет, пирожки печет,
скоро миленький приедет
вдоль по-
Песчаной улице народ идет смотреть,
Как повар повариху на печке будет е-
хали пираты, веслами гребли,
Капитан с боцманом девушку е-
хали казаки через лес густой,
Повстречали девушку с разорванной пи-
ки наставили, хотели воевать,
А потом раздумали и стали её е---

Тоже очень старое:

По дороге в Киев
Мужик бабу вы-
— Ты что?
— Да ничего: вывел на дорогу!
А у тети Нади
Все девчонки бля-
— Ты что?
— Да ничего: бляхами торгуют!
Как из гардероба
Показалась жо-
— Ты что?
— Да ничего: жёлтые ботинки!

И — так и представляешь себе детскую книжку с картин-
ками:

Перед вами, детки, слон,
Он огромен и силен,
У него, как у китайца,
Отросли большие уши —
Да-да, детки, уши.

Морж на рыбу не похож,
Клык его — как острый нож,
Он полощет среди струй
Свой огромный длинный клык —

Да-да, детки, клык.

Гага — северная птица
И мороза не боится,
Целый день сидит в гнезде,
Ковыряется в пуху —

Да-да, детки, в пуху.

Перед вами муравей —
Трудолюбивей всех зверей.
Поглядите, детки, в лупу
И увидите ручки-ножки —

Да-да, детки.

Послевоенное, на мотив *Вдыхая розы аромат*:

Однажды вечером в саду
Я, помню, вас послал в кино,
Но вы бывали там давно,
Я и ошибся на беду.
Я не хочу вас оскорблять,
Хоть вы порядочная тетя,
Скажите мне, с кем вы живете,
И можно ль мне вас погулять.
Впивая жадный поцелуй,
Я вынимал свой длинный ключ.
Луна сверкала из-за туч,
А ты шептала: не ревнуй.

Стихи, читавшиеся справа налево, были малочисленны и бледны: УКУС ТЕБЕ КАЗАК. Единственный сносный: УЛЫБОК ТЕБЕ ПАРА.

Не пара, а непривычное множество улыбок, равно как и беззаботная легкость тона в сдвигах и ловушках — свидетельство, что мы уже давно переехали во

ВТОРОЕ ВЛИЯНИЕ — стабильный школярский фольклор — не путать с лагерным, который принадлежал полностью к Первому влиянию.

Не иначе, как до ГОЭЛРО:

Раз сидела я одна
У распертого окна,
В небе звезды понатыканы,
Соловей в саду запузывает.
Подошел ко мне милой
С крючковой бородой,
Сам в гороховой пальте
И с пенною на носе:
— Не схотится ль вам пройтись
Там, где мельница вертится,
Там, где рожа молотится,

Лепестричество горит.
 Впрочем, ежли не хотится,
 Я и сам могу пройтиться. —
 И осталась я одна
 У распертого окна.

Тоже допотопщина:

Сидит химик на печи,
 Хуем долбит кирпичи:
 Химия-химия,
 Вся залупа синяя.
 Сидит химик на скамейке,
 Хуем долбит две копейки:
 Химия-химия,
 Вся залупа синяя.

Поразительно профессиональные стишки, вероятно, двадца-
 тых годов:

Пионеры юные —
 Головы чугунные,
 Ноги оловянные,
 Черти окаянные —
 Жулики известные,
 Пять минут постой,
 И карман пустой.

Отдает пятилеткой:

Вышла новая программа:
 Срать не меньше килограмма.
 Кто насерит целый пуд,
 Тому премию дадут.

Дань физкультуризму тридцатых годов, с аффектацией:

ГРРУДЬ МОРЯКА!
 жопа старика..
 ННОГИ ФУТБОЛИСТА!
 руки говночиста..

Известная школьная загадка (произносить с ужасом):

— Чего никогда не было, нет, не будет и не дай Бой, чтоб
 было? Ответ: — В пизде зубов.

— Что в школе всегда было, есть, будет, а если не будет, про-
 изойдет культурная катастрофа? Ответ: — Анекдоты о Пушкине.

Шли Пушкин, Лермонтов и Некрасов, глядят — четвертная. За-
 спорили. Решили, кто лучше стих сочинит, тому водка.

Некрасов:

Пароход идет ко дну,
 Дайте рюмочку одну!

Лермонтов:

Рыбка плавает на дне,
 Дайте рюмочку и мне!

Пушкин:

Я не знаю ни хуя,
 Четвертная вся моя!

Хоть что-то школьное я рассказывал дома — из вежливости. И я рассказывал про Пушкина поневиннее.

ДНЕВНИК:

23 января 1945 г.

Зима. Мимо памятника идет прохожий и говорит:

— Полно, Пушкин, в шляпу бздеть, —

Пора на голову надеть!

Анект'д'от.

Пушкин играл в прятки и спрятался в куче мха. Его разыскивали, но не нашли, и стали звать:

— Александр Сергеевич, где вы?

А он в ответ:

— Во мху я! Во мху я!

Все в ужасе разбежались.

Рассказал папа.

Я передал в классе и получил продолжение:

Пушкин и девушка Буся спрятались под стол. Их не могут найти. Зовут. Пушкин радостно:

— Я и Буся под столом!

Из пушкинианы позаковыристей:

На банкете Пушкину положили в тарелку кусок пиздятины. Он вынул хуй и положил на стол.

— Александр Сергеевич, что вы делаете?

— По мясу и вилка!

Граф с графиней не позвали на бал Пушкина. Перед балом Пушкин зашел и попросил знакомого лакея дать ему графин и яиц. Положил графин, поводал по нему яйцами и ушел. На балу граф спрашивает лакея, не был ли Пушкин.

— Был, был. На графине яйца поката-поката-поката и ушел.

Нех плюс ультра:

Пушкин подвесил себе между ног ливерную колбасу. Гуляет, видит, стоит голая девка. Тычет в пизду ей тросточкой:

— Что это, шерсть?

— Нет, это не шерсть, а волоса.

— А у меня вместо хуя — ливерная колбаса!

ТРЕТЬЕ ВЛИЯНИЕ — кино, радио.

В школу приезжала кинопередвижка или нас водили в воскресенье на первый сеанс в *Уран/Форум*:

Фельдмаршал Кутузов,

Зигмунт Колосовский,

Неуловимый Ян,

В горах Югославиц,

Великий перелом.

К действительности эти фильмы отношения не имели.

Перед коллективным сеансом что-то устраивали. В *Уране* фальшиво распинался Чуковский:

— Я хрюкать не умею, вы мне будете помогать — три-четыре —

Уточки заблеяли:

Хрю-хрю-хрю!

Вокруг него балетные школьницы из призрачного Дома пионеров. Вдруг одна схватилась за глаз и убежала: злодей засадил ей из рогатки. Чуковский нас злобно стыдил.

По своей воле мы смотрели несколько другое (лакомые *Заключенные* и выбранные места из *Котовского* относились к Первому влиянию). Наш выбор тоже не имел отношения к действительности, но фильмы были поярче, позавлекательнее и живо входили в фольклор:

Поединок: Петер Вайнер-Петронеску: — Прощай, матушка Русь!

Подвиг разведчика: Вилли Поммер, король щетины.

Два бойца: *Шаланды полные кефали* и *Темная ночь*.

Багдадский вор: — Я хочу быть, я хочу быть моряком...

*Три мушкетера*¹:

Эх, вар-вар-вар-вар-вары

Случилась беда —

У нас под Ленинградом (!?)

Зарезало вора.

Он вар-вар-вар-воришка

Попал под колесо,

Отрезало хуишко

И правое яйцо.

Джордж из Динки-гжаза:

По экрану бегали фигуры,

Фриц какой-то жалобно вопил.

Я сидел обнявшись,

Одной рукой прижавшись,

А другой по буферу водил...

Новые приключения Швейка дали прозвище *Швейка* (имени-тельный, ед. число) и обрывки ленты, ставшие месяца на три меновой единицей:

— Я те за это две швейки дам!

Трансляция у всех орала с утра до ночи. Иногда повторяла кино:

Ай спасибо Сулейману,

Он помог сове-е-етом мне!

Иногда подражала:

О горе мне,

О горе —

Ходит ко мне судья

Обедать.

По воспоминаниям, диво как хороши были самостоятельные радиоспектакли — сороковые были, наверно, их лучшим временем. Случайно, из многих несколько: композитор Никольский, режиссер Роза Иоффе, звукоподражатель Андриюшинас.

Детские были никак не хуже взрослых. Для сравнения.

Взрослые:

Ночь листвою чуть колышет,

Серебрится луч луны...

¹ Братя Маркс.

У вас одно, у нас другое,
 А разницы, пожалуй, никакой...
 Жил-был Анри Четвертый,
 Он славный был король...
 Настала ночь,
 Уснул Париж,
 Закрылись крепко все запоры.
 Пока мы здесь,
 Повсюду тишь —
 Дрожите, жулики и воры!

Детские:

Только на небе
 Звезды зажглись,
 Из дому вышел
 Рейнеке-лис...
 Стал искать я переправы
 И налево, и направо,
 Напевая: дў-ду дў-ду дў-ду дў.
 Не нашел я переправы,
 Ни налево, ни направо,
 Право, право, переправы не найду!
 Я мальчик-колокольчик
 Из города Динь-Динь...
 ...Как поймать лису за хвост,
 Как из камня сделать пар,
 Знает доктор наш Каспар...
 А ведь так могло случиться
 Потому что у ворот
 Показался славный рыцарь,
 Знаменитый Дон-Кихот.
 ...Все мы капитаны,
 Каждый знаменит.
 Нет на свете далее,
 Нет таких морей,
 Где бы не видали
 Наших кораблей...
 Есть мушкетеры, есть мушкетеры,
 Есть мушкетеры, есть!

Детские передачи нас почти что облагораживали — если возможно было нас хоть как-то облагородить.

ЧЕТВЕРТОЕ ВЛИЯНИЕ — самое слабое — чтение. То, что в книгах, не имеет отношения к реальной жизни. Читающие запо-ем зачастую не умеют связать двух слов в изложении и припу-хают на каждом диктante.

Были снобы вроде Бакланова с его залуибуссенарами. А в общем, читали случайное.

По дневнику список прочитанного с 30 января 44 г. по 21 января 46 г.:

Н. Чуковский — *Водители фрегат*ов,

Ильф и Петров — *Одноэтажная Америка*,
 Шульц — *Синопа* — маленький индеец,
 Бажов — *Малахитовая шкатулка*,
 Гоголь — *Собрание сочинений*,
 Байрон — *Корсар*,
 Соловьев — *Возмутитель спокойствия*,
 Жюль Верн — *Таинственный остров* — очень интересно,
 Бальзак — *Шагреновая кожа* — дрянь,
 Вальтер Скотт — *Граф Роберт Парижский* — оч. интересн.,
 А. Дюма — *Десять лет спустя*,
 Диккенс — *Оливер Твист* — оч. хор. 5.,
 Давыдов — *Русские Робинзоны*,
 Жюль Верн — *Путешествие к центру земли*,
 Конан-Дойл — *Рассказы о Шерлоке Холмсе*,
 Тарле — *Наполеон*,
 Джек Лондон — том XVI,
 Де Коппет — *Проповеди для детей* — замечательная книга,
 Тютчев — стихи¹,
 Диккенс — *Колокола*, *Сверчок на печи*, *Рождественская песнь в прозе*, *Записки Пиквикского клуба*,
 Эренбург — *Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников*,
 Ал. Толстой — *Хлеб*,
 Гребнев — *Арктания*, *Приключения катера Смелого*,
 Шекспир — *Король Лир*,
 Лурье — *Письмо греческого мальчика*,
 Чехов — *Юмористические рассказы*,
 Овалов — *Рассказы майора Пронина*,
 Савельев — *Немые свидетели*,
 Конан-Дойл — *Марракотова бездна*, *Затерянный мир*,
 Новиков-Прибой — *Соленая купель*, *Грач птица весенняя*,
 Станюкович — *Путешествие вокруг света на Коршуне*.
 В моем случае, не так уж и плохо. А кроме этого — постоянные Пушкин/Лермонтов, выученные наизусть *Облако в штанах* и русский фольклор Саводника, да еще гимназическая хрестоматия *Наш мир* — от былин до Бальмонта — и сытинская детская энциклопедия.

Четвертое влияние — самое слабое — сказалось на мне заметнее, чем на других: я не только читал, я и начал писать.

Третье и Второе — наверно, как на всех.

Первое было мучительством.

Бабушка/мама всегда всего боялись, всегда всем пугали. Невозможно понять, как мама могла отдать меня в семилетку вообще, да еще в такую семилетку.

¹ переписал *Silentium!*

Время брало свое, и, с трудом прижившись, я стал замечать: в школе и вокруг школы мало кого мудохали, никого в смерть не испиздили, никого ни разу не пописали. Когда кто-нибудь оголтелый ко мне приебывался, всегда сам собой возникал неблагородный заступник. Мерзкие школьные завтраки шли на хапок, но мне доставались всегда. И изначальное состояние настороженности сменилось состоянием скуки.

Скучно было не мне одному — всем.

Изнывая от скуки, пытались развеваться, глумясь над учителями и друг другом. Ритуал рождался от скуки и, будучи механическим повторением заученных действий, не мог не продолжить скуку.

От скуки, встрепенувшись, неслись куда ни попадя:

Улица Дурова дом 25 —
Слону яйца качать.

От скуки — экзотика — бежали к забору напротив *Форума*, где пленные немцы строили большой дом с башенкой. Немцы были крупней, мордастей и на вид благодушной тощих мрачных прохожих. Кто-то пустил парашу:

— Немцы едут домой! —

и мы бросились к открывшимся перед законченным домом воротами с колючей проволокой и увидели немцев в грузовиках. Неожиданно для себя мы закричали и замахали шапками. Немцы заулыбались, кто-то осторожно поднес пальцы к кепи. Грузовики уехали.

От скуки толпой ходили на Трифонку. Туда, за Ржевский вокзал пригоняли составы военной и предвоенной мелочи — цинк, алюминий, железо, медь, никель. Польша, Литва, Латвия, Эстония, Румыния, Югославия, Сербия, Болгария, Греция, Бельгия, Голландия, Дания, Норвегия, Франция, Германия. Смысл — со звонком зашмальнуть под потолок горсть-другую:

— Хапок!

Я собираю марки/монеты сколько себя помню. В школе образовалось предложение. У меня была твердая валюта — завтраки, которые я все равно не ел. На большой перемене в класс вносили поднос — каждому бублик и грязненькая подушечка. Вещи и услуги ценились в один-два-три-пять-десять-двадцать завтраков. На завтраки я выменивал что посеребрянее:

Бородинский рубль,
Кронунгсталер,
Зигесталер,
Дер Кёниг риф,
Рейнланд,
Гёте,
Ян Собеский и т. д.

Так как обе вступающие в сделку стороны — барыги, то для выделения мне дали еще прозвище: *спекулянт*. Я не обижался на *спекулянта*: во-первых, ритуал, во-вторых, мне нравился процесс

купли-продажи. Как в *Мертвых душах* мне крайне импонировал приятный приобретательный Чичиков.

Читанный-перечитанный *Возмутитель спокойствия*, то есть Насреддин в Бухаре, соединился с *Тысяча и одной ночью*, и в бредовых грезах перед засыпанием восточная яркость года два-три казалась выгодным противовесом нашей серой скуке.

Если сформулировать: пестрый халат, глинобитная прохлада в зной, премудрости медресе. А еще лучше обосноваться в Багдаде, изучать *Капитал*, торговать по науке и разбогатеть. У Маркса про капитал сказано все — дурак, кто не учится у него этот капитал наживать.

От скуки я стал сочинительствовать. Не воспарял, а доходил, потешая соклассников. Изложил стихами биографию классной руководительницы. Она с мужем-инспектором ютилась в каморке при школе. В школьном коридоре они постоянно просушивали/проветривали разнообразные шмотки. Живя у всех на виду, они, естественно, были притчей во языцех. Я кое-что досочинил, без мата не рифмовалось:

...Старый Ваня Маштаков,
 Старый бухарек толков —
 Он кармашком тряханул,
 Старым хуем вертанул,
 Похвалился одежкой —
 Стала ему Лидка женой.
 Ваня Маштаков инспектор,
 Бздит его и сам директор.
 Ваня дерика пугал —
 Тот училкой Лидку взял.
 Раньше жала между ног,
 Теперь стала педагог и т. д.

Пустил по рукам. Читатели так хихикали, что через пол-урока стихи оказались в руках у героини. Что она могла сделать? При коллективном походе в театр — все билеты у нее — сказала билетерше:

— Не наш, —

и меня не пустили. Много недель ставила четверки по дисциплине, пока мама, удивившись, не сходила в школу.

Настоящим учебником, введением в кухню советской поэзии был для меня альбом пародий Архангельского, как-то забредший в класс. Я решительно входил в курс премудростей:

...Дворник намерен улицу мыть,
 Хочется кошке курчонка стащить,
 Тянется в люльке младенец курить,
 Хочет пол-литра старик раздавить.
 Утро настало. Корова мычит,

Зампрокурора в хавере торчит,
Фрей-математик блюет в автомат,
Поп не молитву бормочет, а мат...

Успех, признание... Такое сочинительство не освобождало душу, не спасало от домашней клаустрофобии и школьного ритуала — и от одиночества.

Ибо я все годы семилетки пытался высмотреть, раздобыть друга.

В третьем классе мама пыталась свести меня с Вадей Череповым — *из хорошей семьи*. Всю ту зиму я проболел, а потом меня перевели в другую школу.

В пятом я попытался свести знакомство с хорошеньким Мишей Кушнером — кличка «Наташа». Раза два звал к себе. Променял ему папину *За оборону Москвы* на венгерские пять крон с Францем-Иосифом. Дня через два он сказал, что его мачеха отыскала медаль, и если я не верну монету, она куда надо заявит — медаль так и так не вернет. Я поговорил с папой, мы решили не поддаваться. Мне было страшно, и я в школе молчал. Кушнер, наоборот, похвастался, и его чуть не побили, как определителя.

В седьмом классе я привязался к миленькому Лёне Летнику. Забывшись, на бегу поцеловал его в щеку.

Мы гуляли по улицам, ходили в музей, в театр. Были, вероятно, на последней *Магам Бовари* в *Камерном*. Нежную дружбу я хранил в тайне. Мама вычисляла по телефонным разговорам.

У него — на страшной Троицкой, где айсоры — я никогда не был. Он как-то ко мне зашел. Мама сразу:

— А он не еврей?

Достойный сын на завтра спросил у соседа Летников по двору.

— Что ты! Лёша истинно русский человек.

Через год Лёня со мной простодушно, как с другом, посоветовался:

— Отец у меня еврей, мать русская — что писать в паспорте?

Во мне достало Большой Екатерининской:

— Делай так, как подсказывает твоя совесть.

И это в сорок девятом году!

Попытки дружбы кончались ничем, ибо я душой не созрел до сознательной дружбы, а простой детской дружбы у меня не было.

Семилетка — гнетущее бессобытийное время.

Собственно говоря, событий за четыре года, можно считать, три.

Первое — если за событие принять само явление семилетки и связанный с ним опыт.

Второе — в классе четвертом-пятом.

После уроков на неосвещенной Второй Мещанской короткая сильная рука втащила меня в подворотню:

— Ты кто?

Я онемел от ужаса.

— Ты русский? — зимой человек без пальто, коренастый, курчавый, светловолосый. — Ты русский? Да? Береги нацию! У меня в паспорте тоже русский, а я цыган. Мой дед в семьдесят лет детей имел, а я в пятьдесят без силы. До войны я был врач-евгеник. Точно знал, сколько рентген надо, чтобы не было беременности месяц, год...

Из энциклопедии я знал, что такое евгеника. Слышал, что ее прикрыли. Вспомнил, как в переулке зимой человек без пальто попросил у мамы двадцать копеек, а она дала ему рубль: несчастный. Ужас во мне не прошел, но забрезжило понимание ситуации. Домой я пришел потрясенный. Рассказать было некому.

Третье событие — лето сорок седьмого года. Оно произошло в Удельной, и о нем, как обо всем удельнинском, разговор особый.

1980 — 1984

УДЕЛЬНАЯ

Когда яркая листва на Второй Мещанской тускнела от пыли, начиналась Удельная.

Между Москвой и Удельной располагался мир электрички.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТ РЫВАТЬ ДВЕРИ НА ХОДУ ПОЕЗДА

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТ РЫГАТЬ ДВЕРИ НА ХОДУ ПОЕЗДА

Шик и восторг упереться носком ботинка в стойку открытой двери и, замирая, грудью вбирать пространство и скорость.

Это с Шуркой. Без Шурки я, конечно, ездил внутри вагона. Наблюдал последнего нищего скрипача. Он клонился вперед и вперед по движению руки и страстным голосом детонировал:

— Когда я на почте служил ямщиком...

Нищие без скрипок внушали верлибром:

— Дорогие отцы, братья и сестры,
Ваша жизнь в цветах, моя жизнь в слезах,
Две-три копейки для вас ничего не составят,
Дома не постройте, сердце успокоите, —
Подайте сляпому инвалиду с двадцать шестого года!

Просили оборванные, погорельцы, возвращающиеся из больницы, из заключения.

На Сортировочной или Фрезере я два-три раза видал товарные составы, нагруженные людьми.

В только что поданной электричке человек лет пятидесяти повесил против меня тяжелую сумку и вышел в тамбур. В окно я заметил, взгляделся и понял, что он спустился по лесенке на пути и перешел в соседний поезд. Я убрался в другой вагон.

Мужички в дороге занимались казуистикой:

— Это ты зря.

— Конечно, зря! Што я, незрячий, што ли?

Интеллигент восхищался:

— Взгляните, Вика! Подсолнечник на путях. И что замечательно — никто его не сорвал!

И два молодых вдохновенных прямо по мою душу:

— В Византии было направление — как наш футуризм — палишанэ. Не палешане, а палишанэ...

В Подмоскovie, по Казанке, в Удельной было скудное скучное время без дачников.

Полупустые дома к ночи запирались на все замки, крючки и засовы. Люди обмирали от ужаса, если с улицы, из темноты доносилось мяуканье: в *богатых* Отдыхе, Кратове, поближе в Краскове, Малаховке шуровала Черная кошка.

ДНЕВНИК:

5 июля 1945 г.

Достоверно и подлинно,

произошло в течении 2-х ближайших недель.

У дер. Вялки по М.-Ряз. ж. д. находится склад. Недели 2 назад неизвестными лицами было произведено нападение и ограбление этого склада, при чем был убит сторож. Через несколько дней после этого, рабочий несший на склад 75 одеял был также ограблен и убит. Убийцу заметили и погнались за ним. Бандит убежал 2-3 км и на дворе, на котором проживала некая Гранька бросил при помощи Граньки, одеяла в бак, стоящий на Гранькином дворе. Судьба бандита мне неизвестна. Шурку Морозова (плешивого) вызвали в поссовет пос. Удельная. В присутствии нескольких неизвестных лиц ему сказали, чтобы он поинтересовался соседями Корнеевыми и поглядел, что у них есть. Играя на дворе Корнеевых, Шурка заглянул под террасу, и увидел целые горы бутылок, одеял и прочего. После игры Настасья Корнеева сказала ему: «Шура, на тебе 2 бутылки вина и 100 руб., потом я тебе дам еще 1000, только никому не говори, что видел». Шурка после этого сбежал в школу и позвонил по данному ему в поссовете телефону. Корнеевых мать и дочь арестовали.

На дворе у Граньки Шурка обнаружил в баке одеяла. Шурка сказал об этом Н. К. В. Д., которые ожидают на корнеевской даче человека, который должен придти за одеялами. Граньку и ее соседку Маньку арестовали. Дочь Настасьи Корнеевой вскоре выпустили. Она спятила или симулирует. В деле еще обвинили еще 10-15 чел. шоферов, которые возили награбленное добро и продавали его. Шурка ставит из себя Ната Пинкертона.

Записано со слов Шурки 4/VII — 45 г.

Вызывали в поссовет Шурку, а не кого другого, потому что мать — общественница-активистка.

Чтобы насолить активистке, соседи открыли Шурке, что он не родной, приемный. Поверил, не переживал, отношения не переменил, но ощутил себя попривольнее: отпало из чехов, наверно, немцев, и *дед был полицмейстер* — и вообще, толково, явно так лучше, сам по себе. Если мать неродная вдруг попрекнет за беделье рабочим классом, проще по-школьному отбрезнуться:

— Рабочий —
Я насру, а ты ворочай!

Шурка пробыл в моих друзьях-приятелях десять школьных лет и что-то потом. Зимой мы встречались редко. Письма его я получал на почте по ученическому билету. На самом первом конверте стояло:

МОСКВА. 110 ОТДЕЛЕНИЕ. ДО ВАС ТРЕБОВАНИЕ.
Одно из характерных:

13. II. 46 года.

Здравствую, Андрей!

Андрей! Я так и знал что, тебя что-нибудь задержало. Ждал я тебя до 16 (4) часов вечера, а потом бросил надежду на твой приезд. Кинофильм «в горах Югославии» и «Великий перелом» еще не смотрел но по рассказам думаю, что кинофильм хороший и содержательный. Музей¹ правда нехороший. Вот исторический и В. И. Ленина и Тритековка «это да». Там экспонаты большинство не поддельные. На пример: монеты медные, бронзовые и серебряные не поддельные, а что косается золотых и «шапки Монамаха» то это всё подделка, а настоящие, и они хранятся в залах кремля. Марки с Тургеневым тебе я достал. А ты мне достань с немецк. паравозами и военную серию (немецкую), и марки которые ты отобрал еще летом. Повозможности купи мне альбом для заграничных марок, а если ты будешь продавать альбом для Советских марок (фабричного изделия), то тоже оставь мне его. Монет и марок достал порядочно.

Между прочим занимаюсь радиотехникой (притом читаю книги — по их изготовлению), и разными электроприборами. В будущем году думаю проведем между нами телеграф и если удастся, то и телефон. Андрей! если можешь то достань телефонную трубку. Пока всё.

Морозов.

Коллекционерство Шурка называл бизнесом, коллекционеров — бизноделами. Громкое заокеанское слово ему импонировало.

Между прочим было главное. В четырнадцать лет Шурка окончательно определился:

детектор,
супер-гетеродин,
кенотрон,
конденсатор,
сопротивление,
немецкие лампы — американские лампы.

¹ Музей изобразительных искусств со слепками?

Он непрестанно паял, совершенствуя жалкий домашний *Рекорд*:

— У, геморроид! —

и мотал девятнадцать, тринадцать метров, ставил новые блоки, импортный штекер, — так что мать — неродная, общественница — взывала:

— Будет он у тебя когда-нибудь работать?

— А тебе на кой?

— Последние известия дай послушать.

— А ты так не знаешь, чем Москва торгует?

— Москва ничем не торгует! — и Шурка плясал вокруг стола, увертываясь от затрещин, — и уплясывал ко мне на террасу.

На террасе — мама на кухне, папа в саду на грядках — мы занимали огромный дощатый стол. Выставляли довоенный не сломавшийся, не проданный патефон — как много он для нас значил! Колдовали над пластиночками — выискивали дикий джаз:

Ва-гу-га Герри Роя,
Маракас Амброзе,
Свит-Су Варламова,
Фокс-Сильва Утесова.

Вспоминали — давний, по радио — джаз-гол¹ Канделаки. Старались прочувствовать сакс, брек и джазовое фортепьяно. Мыслями витали далеко — по заграницам.

Средний русский до ВОСРа мечтал о Париже, Вене, Венеции, о Баден-Бадене, Карлсбаде и Ницце. Мировая революция была приглашением на простор. *Вдруг стало видимо далеко во все концы света*, даже до Сандвичевых островов, которые оказались Гавайскими. Уцелевший после гражданской войны бывший телеграфист слушал *пролетарии всех стран соединяйтесь* под аккомпанемент гавайской гитары. Он лишился надежды, но не отдавал мечту и весь НЭП неудержимо пел:

В Гаване,
Где под сводом лазурных небес
Всюду рай и покой...
Вернулся Джон из северной Канады, —
А ну-ка, парень, налей бокал вина!..

Этой экзотики я набирался у мамы, Веры, Юрки Тихонова и — больше всего — у Шурки:

Раньше это делали верблюды,
Раньше так плясали барракуды,
А теперь танцует шимми целый мир...

¹ Недавно мне объяснили, что джаз-гол — голосовой джаз, в отличие от инструментального.

Шумит ночной Марсель
 В притоне *Трех Бродяг...*
 В кейптаунском порту,
 С какао на борту,
 «Жанетта» опрaвляла такелаж...

Есть в Батавии маленький дом,
 Он стоит на утесе крутом,
 И ровно в двенадцать часов
 Открывается двери засов,
 И за тенью является тень,
 И скрипит под ногами ступень,
 И дрожит перепуганный мрак
 От прошедших и будущих драк.

Очень рано к экзотике стала примешиваться и мешать ей блатная струя. Добил экзотику *Гол-со-смыком*. Пластинку эту — заигранную до седины — я видал только раз, а песню мы знали и пели все — как и ее бесчисленные продолжения:

Гол-со-смыком петь не интересно, да-да,
 Сто двадцать два куплета вам известно, да-да,
 Лучше я спою такую
 Ленинградскую блатную,
 Как поют филоны в лагерях, да-да.

В первую пятилетку да-даизм оказался насущней экзотики. Во вторую — атмосферу разрядили возвратившиеся фокстроты и танго, д ж а з. После войны джаз — как западный — запретили.

Запретный, дикий опьянял, будоражил. С дикими рожами, самозабвенно, в четыре руки мы отбивали такт по столу — благо, тяжелая мембрана на семидесяти восьми оборотах не соскакивала с бороздки.

От Шурки, ни от кого больше:

Родился я, друзья, в Одессе-маме, да-да,
 Но пусть всё это будет между нами, да-да,
 Овладела мною сразу
 Музыкальная экстаза,
 И теперь зовусь я Гол-со-джаза, да-да!

В двадцатые заграница была мечтой, в тридцатые — смутным фактом, в войну — войной, после войны — ...

Услышав по радио *Муки любви* Крейсера, я затосковал — как к весне. Прочувствовав в тысячный раз *Брызги шампанского*, я вдруг понял, что есть красивый мир, заграница, юг Франции, кавалеры во фраках, дамы в вечерних платьях — и этого мира мне никогда не видать.

Удельная — это двух-трехмесячный отдых от школьного напряжения, почти приволье. Никто от меня ничего не требует.

Утром лениво встал, если хочется — поковырялся на грядках. Если жарко — пошел купаться; каждый раз мама:

— Смотри, только не утони...

Примерно раз в лето — упоительное путешествие по Македонке с Шуркой в чужой одолженной лодке.

Под вечер можно съездить/сходить в Малаховку в летний кинотеатр на шестичасовой — позже страшно.

И главное — ежедневное сидение в гамаке. Сквозь яблоню светит солнце, рядом на траве в миске — клубника, малина, вишня, яблоки, сливы. Можно почитать, посочинять, пособораться с мыслями, вникнуть в новые ощущения.

В детстве мы подглядывали в купальню. Однажды при мне подмывалась сумасшедшая тетка Вера. В первом классе я увидел, что девочки сикают не так — и всё равно до отрочества не верил, что женщины и мужчины устроены как-то по-разному.

Я рассматривал себя так и в зеркало. Лез за объяснениями в Малую советскую энциклопедию:

АА — ВАНИЛЬ, ВАНИНИ — ГЕРМАНИЗМ, ГЕРМАНИЯ — ДРОТИК, ДРОФЫ — ИСЛАМ, ИСЛАНДИЯ — КОВАЛИК, КОВАЛЬСКАЯ — МАССИВ, МАССИКОТ — ОГНЕВ, ОГНЕВКИ — ПРЯЖА, ПРЯМАЯ — СКУЛЫ, СКУЛЬПТУРА — ТУГАРИН, ТУГЕНДБУНД — ШВЕРНИК, ШВЕЦИЯ — ЯЯ.

На развороте с Гарри Поллитом были: *Половая зрелость, Половое бессилие, Половое поколение, Половое размножение, Половой акт, Половой диморфизм, Половой отбор, Половой член, Половые болезни, Половые железы, Половые извращения*, а на следующем — *Половые клетки, Половые органы, Половые преступления и Половые признаки*. По одним названиям ясно, что это для тех, кто уже знает.

Бедный Шурка целую зиму обрабатывал Павленковский словарь: *Бетховен* — величайший из композиторов.

Маркс — нем. экономист. Писал об отношениях труда и капитала.

Энгельс — последователь Маркса. Из всего громадного состояния ни копейки не оставил в поддержку проповеданного им учения. (Это по памяти, уверен, что точно.)

Шурка выискивал *что позаебистей* — в словаре не было статей *Малафья, Спирма, Спирмоег* (по аналогии с сукоedom).

На наши вопросы книги не отвечали, и мы оказывались во власти фольклора.

Двадцать первый палец.

Хуй бывает — показывается на руке от полумизинчика до плеча:

детский, кадетский,
штатский, солдатский,
пленный, военный,
самый здоровенный.

— Ебена мать, — сказала королева,
Увидя хуй персидского царя.

— Девушка опоздала на последнюю электричку в Нью-Йорк. На шоссе ни машины. Вдруг едет негр на велосипеде. Она говорит: — Подвезите меня. — Садитесь, — и посадил на велосипед перед собой. Довез до дому. Она слезла, повернулась, чтобы сказать спасибо, и увидела, что велосипед — дамский.

— Состязались, кто первым донесет на хую ведро с водой на верхний этаж небоскреба. Погиб самый сильный — перед финишем ведро сорвалось, и хуй стукнул его по черепу.

— Мальчик ходил в баню с папой, а туг пошел с мамой. Увидел, спрашивает: — Что это у тебя? — Это щетка. — Ну, у папы щетка получше — с ручкой, с шишечкой и на колесиках!

Барсук
Повесил яйца на сук,
А девки думали — малина
И откусили половину.

У кого красные веки, в школе скажут:
— В пизду смотрел.

Отчего коза всех хуже?
От того, что у нее пизда наружи.

Пизда бывает — складываются концами большие и указательные пальцы:

птичья,
расставляются на фалангу:
овечья,
не размыкая пальцев, во всю длину:
человечья.

Встань, казачка, кверху срачкой на плетень,
Покажи свою лохматую пиздень.

Небывальщина:

Гермафродит —
Сам ебет, сам родит.

Резюме:

Хуй — пизда
Из одного гнезда,
Где сойдутся,
Там поебугся.

Генерализация:

Ебется мышь, ебется крыса,
Ебется тетка Василиса,
Ебется северный олень,
Ебугся все, кому не лень.

Семинарская *Песнь песней*:

Взойдем на горы алтайские,
Зазвоним в колокола китайские,
Вынем шпагу Наполеона
И засунем ее в пещеру Соломона.

Гимназическое склонение:

День был Именительный,
Я ей Предложный,
Она мне Дательный,
Мы с ней Творительный,
Она Родительный —
Чем же я Винительный?

Классика — *Лука Мудищев* и *Евгений Онегин* — сочинения то ли Баркова, то ли Есенина:

Я вас прошу, придите в сад
На место то, где кошки ссат...

Оркестра звуки ввысь неслись,
Онегин с Ольгой еблись...

Народный театр:

— Где ты был, Савушка?
— В Ленинграде, бабушка.
— Что там делал, Савушка?
— Девочек еб, бабушка.
— Сколько раз, Савушка?
— Сорок восемь, бабушка.
— Что так мало, Савушка?
— Хуй сломался, бабушка.
— Ты бы склеил, Савушка.
— Клею нету, бабушка.
— Ты б купил, Савушка!
— Денег нету, бабушка.
— Ты б занял, Савушка!
— Не дают, бабушка.
— Ты б украл, Савушка!
— Иди на хуй, бабушка!

Та же картинка в частушке:

Я ебался, я ебался,
И мой хуй в пизде сломался.
Видишь — девушка бежит,
И в пизде мой хуй торчит.

Почти баллада:

Двадцать пятого числа
Маша с улицы пришла.
Только стала спать ложиться —
Что-то в брюхе шевелится,

Не томышь, не то лягушка,
 Не то маленький Ванюшка.
 Стала мать ее ругать:
 — Ах ты, сука, ах ты, блядь,
 Кто тебе велел давать?
 — Не твое, мамаша, дело,
 Не твоя пизда терпела,
 Не твой старый чемодан —
 Кому хочю, тому и дам.

Новый Гоп-со-смыком:

По бульвару Лялечка гуляла, да-да,
 Атаманов много Ляля знала, да-да,
 Своей талией пушистой,
 Своей юбкой золотистой
 Ляля атаманов привлекала, да-да.
 Хуй вскочил у Гришки-атамана, да-да,
 От такого жирного товара, да-да,
 Сам собою намекает
 И за Лялечкой шагает,
 Шайка атамана позади, да-да.
 Лялю они быстро окружили, да-да.
 В санитарку Лялю затащили, да-да,
 Ты, Витюха, встань за мною,
 А ты, Гринтя, за тобою,
 А ты, Жир, становься двадцать первым, да-да.
 Очередь последняя подходит, да-да,
 В санитарку старый хрыч заходит, да-да,
 Старый хрыч, куда ты прёсся,
 Иль тебе старуха не ебёсся,
 Иль тебе старуха не дает? да-да.
 Ладно вы, ребята, ни гу-гу, да-да,
 Дайте мне покоя старику, да-да.
 Долго хрыч не собирался
 И на Лялечку взобрался
 И почувствовал себя в раю, да-да.

Сексуальный фольклор обстоял нас с рождения. С каждым годом делался громче, грубей, неотвязней. При этом матерная сексуальность была не руководством к действию, а скорее — сказкой, ловкой выдумкой, ирреальностью:

— Мальчик, чего ты больше всего хочешь?
 — Рогатку.
 — А если нет рогатки?
 — Тогда девочку.
 — Что ты с ней сделаешь?
 — Заведу ее в лес, сниму с нее трусы, вытащу резинку и сделаю рогатку!

И вот фольклор оказался самой жизнью. Он обращался прямо к той темной, густой и тягучей жизни, которая всхолыхнула

нашу телесность, разбередила душу и раздражила ум каждым прикосновением к действительности. От действительности хотелось зарыться в себя, от разбухания и брожения внутри хотелось бежать сразу во все стороны.

Шурка был уличный, я домашний. И все-таки — оба —

Сидели мы на крыше,
А может быть, и выше,
А может быть, на самой на трубе.

В который раз потрясенный Шурка пересказывал мне, как его одноклассник буднично сказал однокласснице: «Варька, пойдем поедемся», и одноклассница буднично ответила: «Не, завтра столько уроков задали...» Это была земля, это было естество. С нашей крыши мы не могли ни опуститься до земли, ни возвыситься до естества. Не хватало воли и воображения. Подавляющее большинство наших сверстников находилось в том же параличе.

Про нас презрительно: — Еб глазами, носом спускал.

Сами мы острили: полоумные мы ребята, половой у нас ум.

Но сознание/подсознание, равно как и эстетическое чувство, препятствовали подчинению телесной тяге. Каждый спасался как мог. Днем занятий хватало. Мы с Шуркой, распротранившись на ближних соседей, всюю менялись марками и монетами.

Шурка вгрызался в схемы, рассчитывал и паял/перепайвал свое и чужое.

Я корпел над стихами — брал выше, а получалось хуже, чем в школе:

Светляки озарили росу,
Ухнул филин в далеком лесу,
И от дальних и ближних озер
Слышу я удивительный хор —
Пенье эльфов, русалок, сильфид
Гимном чудным над миром летит...

Читал запоем. Гимназическая хрестоматия по истории литературы и *История дипломатии* успокаивали. *Виконт де Бражелон* и *Бегущая по волнам* относили в прохладные дали. *Прощай, оружие* и *Дикая собака динго* тревожили. *Хулио Хуренито* и *Заложники* Гейма распаяли, но я не захлопывал их и не откладывал в сторону.

Каждой ночью мы оказывались наедине с самими собой.

Солнце, воздух, онанизм
Укрепляют организм,
Уменьшают вес мудей
И охоту на блядей.

Отчаянный Шурка, закинув ногу, почти прилюдно орал:

А я баланды не хочу,
Сижу на нарах, хуй дrouchу,
Нан-нара, бля, нан-нара, бля, нан-на-ара...

Зимой сорок первого/сорок второго, на Капельском, во дворе, мальчишка напяливал на палец нечто, что не напоминало с детства знакомый напальчник. Он надул — и оно не показалось воздушным шариком. Я, обмирая, спросил, что это.

— Это от женщины, — и он убежал.

...Юлькибернартов пасынок поведал, что когда не хотят, чтобы были дети:

— Надевают, не помню точно, как называется, кажется, имитатор.

Школа — удельнинская, московская — уточнила:

Пошел козел в кооператив,
Купил козел презерватив...

Допотопное:

В каюте класса первого
Богатый гость Садко
Гондоны рвет на голову,
Свое срывая зло...

Гибрид гимназии и борделя — пародия на арию Ленского:

В вашем доме,
В вашем доме
Я впервые без гондона...

Пародия на маяковское *Hurje*, кроме:

Если хочешь быть сухим
В самом мокром месте,
Покупай презерватив
В Главрезинотресте!

Пародия на *Гол-со-смыком*:

Мама, я пекаря люблю, да-да,
Замуж за пекаря пойду, да-да,
Пекарь делает батоны
И меняет на гондоны —
Вот за что я пекаря люблю! да-да!

Пародия на стереофильм *Машина 22-12*:

Эх, машина ты моя, машина,
Дорогой презерватив!

— Один наш поехал в Америку. Ему говорят: ты поосторожней, там сплошная зараза. Приходит он в американскую аптеку и просит гондон. Ему говорят: какого размера? А он не знает. Тогда ему говорят: — Пройдите в соседнюю комнату. — В общем, приезжает он из Америки без носа. Ему говорят: мы же тебя предупреждали!

— Да я на примерке засыпался.

Армянин жалуется: — Доктор, у меня столько детей, совсем замучился. Нет ли средства? — Тот прописал ему презервативы.

Через неделю армянин прибегает: — Спасибо, друг, спас! — Доктор удивляется: — Как, так быстро? — Да я три раза принял и стал срать пузырями. Все дети со смеху подошли!

Из рук в руки газетная вырезка — *кандидатами в депутаты*:
Раису Сыроежкину — от Баровского завода резиновых изделий санитарии и гигиены.

Не прямое и пошлое — к тому же недоступное — назначение, не санитария и гигиена влекли нас, — но миф, запретность, неуловимость и — превыше всего — чарующая эфемерность, бархатистое прикосновение талька к губам, всасывание нежного пузырька, осторожный прикус зубами и одновременное закручивание пальцами до границы, за которой он лопнет. О музыкальное шуршание готового пузырька по зубам на уроке — неожиданно хлоп! — и училка делает вид, что ничего не было.

Обладание презервативом — ступень блаженства и степень взрослости.

Мы толклись в аптеках, слушая евфемизмы:

— Два пакетика.

— Две резиночки.

Раз даже:

— Два петушка.

Передавали друг другу разведанные или только что сочиненные народные способы приобретения: ни одна провизорша нам, зеленым, неположенный и дефицитный товар бы не продала.

Мы продумали операцию. Высмотрели у удельнинской аптеки подходящую кандидатуру.

Дед был, как из Некрасова, — борода лопатой, грязная светлая рубаха, на голове шляпа грибом, какие когда-то любили пахари. Шурка извлек пачку «гвоздиков» (тройка — пара, рубль — штука) и направился к жертве:

— Дед, купи нам гондон!

— Стыдно мне, стар я...

— А ты скажи — сыну.

Дед колебался. Шурка помахал папиросами:

— Мы тебе закурить дадим!

Дед взял монеты и, вздыхая, пошел на крыльцо. Минут через десять спустился, обескураженный, и протянул сорок три наши копейки:

— Говорят, нету.

Шурка широким жестом дал ему за старание папиросу.

Неудача не огорчила. Больше того, мы ликовали — может быть, подсознательно понимая, что наконец-таки проявили волю. Судьба дала нам случай проявить волю и воображение, когда настало

лето сорок седьмого года.

Ни до, ни после в Удельной не было таких ближних и подходящих дачниц. Мы подбросили пятиалтынный: Шурке выпала Лялька, мне ее двоюродная сестра Леночка.

Поначалу Шурка имел успех и звание «генерал Морозов», но вскоре возник Авдотыин дачник, рыжий Женька:

— Я еврей, а фамилия Баранов, — и захихикал.

Лялька предпочла социально близкого, и оскорбленный Шурка влез в линялую тельняшку и явился, помахивая армейским ремнем с бляхой. Они ушли толковать в Сосенки, а мы на скамейке ждали — вернее, жаждали крови. Крови не пролилось.

По три раза на дню Леночка с судками ходила в детский сад, где Лялькина мать была за врача, и каждый раз сворачивала в наш переулок. Я ее поджидал, и мы говорили, не могли наговориться о всяком — от Розы Каганович до прочитанного. Однажды приложились сухими губами.

В августе ее увезли в Винницу, и я от нечего делать приударил за Лялькой — удачно. Тут ход конем сделал давно приглядывавшийся к нам дачник Фелька, сын чекиста-дзержинца. Дзержинец хвастал, что по профессиональной необходимости выкуривает сто штук в день и что белополяки у него на спине вырезали БОЛЬШЕВИК. Хоть бы сообразил, что мы каждый день на речке видим его гладкую жирную спину.

Фелька подбил отвергнутых Шурку и Женьку дать мне ума, чтобы опозорить фаворита и самому занять его место. Шурка условным посвистом вызвал меня и, прячась за елочками, раскрыл заговор. К вечеру за мной зашел лощеный подтянутый Фелька. Меня привели на свалку над речкой — там летом сорок первого валялись измазанные говном красивые царские облигации.

— Ты что, Женино место занять хочешь? — прошепелявил Фелька.

Я покобенился и, как было условлено, стукнул Женьку в рожу. Женька ушел из-под рук и словно сквозь землю провалился. А Фелька, размазывая красные сопли, орал с безопасного расстояния Шурке любимое отцово:

— Предатель!

При Ляльке остались мы с Шуркой. Глазевшие на нас садолазы теперь возбужденно орали:

— Андрей, держи хуй бодрей!

Взбешенный Шурка въехал на велосипеде в калитку и обрушил на нас с Лялькой непоследний небоскреб. Я дал ему по физиономии. Пока он слезал с велосипеда, я наставил ему фонарей. Когда мама стала хватать меня за руки, фонарей наставил мне он.

Вражда прошла с синяками.

Таково было третье и последнее, я бы сказал, сюжетное событие за годы моей семилетки.

Борис Рыжий

* * *

Так гранит покрывается наледью,
и стоят на земле холода, —
этот город, покрывшийся памятью,
я покинуть хочу навсегда.
Будет теплое пиво вокзальное,
будет облако над головой,
будет музыка очень печальная —
я навеки прощаюсь с тобой.
Больше неба, тепла, человечности.
Больше черного горя, поэт.
Ни к чему разговоры о вечности,
а точнее, о том, чего нет.

Это было над Камой крылатою,
сине-черною, именно там,
где беззубую песню бесплатную
пушкинистам кричал Мандельштам.
Уркаган, разбушлатившись, в тамбуре
выбивает окно кулаком
(как Григорьев, гуляющий в таборе)
и на стеклах стоит босиком.
Долго по полу кровь разливается.
Долго капает кровь с кулака.
А в отверстие небо врывается,
и лежат на башке облака.

Я родился — доселе не верится —
в лабиринте фабричных дворов
в той стране голубиной, что делится
тыщу лет на ментов и воров.
Потому уменьшительных суффиксов
не люблю, и когда постучат
и попросят с улыбкою уксуса,
я исполню желанье ребят.
Отвращенье домашние кофточки,
полки книжные, фото отца
вызывают у тех, кто, на корточках
сев, умеет сидеть до конца.

Свалка памяти: разное, разное.
Как сказал тот, кто умер уже,
безобразное — это прекрасное,
что не может вместиться в душе.
Слишком много всего не вмещается.
На вокзале стоят поезда —
ну, пора. Мальчик с мамой прощается.
Знать, забрили болезного. «Да
ты пиши хоть, сынуль, мы волнуемся».
На прощанье страшнее рассвет,
чем закат. Ну, давай поцелуемся!
Больше черного горя, поэт.

* * *

Еще не погаснет жемчужин
соцветие в городе том,
а я просыпаюсь, разбужен
протяжным фабричным гудком.

Идет на работу кондуктор,
шофер на работу идет.
Фабричный плохой репродуктор
огромную песню поет.

Плохой репродуктор фабричный,
висящий на красной трубе,
играет мотив неприличный,
как будто бы сам по себе.

Но знает вся улица наша,
а может, весь микрорайон:
включает его дядя Паша,
контужен фугаскою он.

А я, собирая свой ранец,
жуя на ходу бутерброд,
пускаюсь в немислимый танец
известную музыку под.

Как карлик, как тролль на базаре,
живу и пляшу просто так.
Шумите, подземные твари,
покуда я полный мудак.

Мутите озерные воды,
пускайте по лицам мазут.
Наступят надежные годы,
хорошие годы придут.

Крути свою дрянь, дядя Паша,
но лопни моя голова,
на страшную музыку вашу
прекрасные лягут слова.

* * *

Дядя Саша откинулся. Вышел во двор.
Двадцать лет отмотал: за раскруткой раскрутка.
Двадцать лет его взгляд упирался в забор,
чай грузинский ходила кидать проститутка.

— Народились, пока меня не было, бя, —
обращается к нам, улыбаясь, — засранцы!
Стариков помянуть бы, чтоб пухом земля,
но пока будет музыка, девочки, танцы.

Танцы будут: наденьте свой модный костюм
двадцатилетней давности, купленный с куша,
опускайтесь с подружкой в прокуренный трюм
кабака — пропустить пару стопочек пунша.

Танцы будут: и с финкой Вы кинетесь на
двух узбеков, «за то, что они спекулянты».
Лужа крови смешается с лужей вина,
издеваясь, Шопена споют музыканты.

Двадцать лет я хожу по огромной стране,
где мне жить, как и Вам, довелось, дядя Саша,
и все четче, точнее вспоминаются мне
Ваш прелестный костюм и улыбочка Ваша.

Вспоминается мне этот маленький двор,
длинноносый мальчишка, что хнычет, чуть тронешь,
и на финочке Вашей красивый узор:
— Подарю тебе скоро (не вышло!), жиденыш.

ПИСАТЕЛЬ

Как таксист, на весь дом матерясь,
за починкой кухонного крана
ранит руку и, вытерев грязь,
ищет бинт, вспоминая Ивана

Ильича, чуть не плачет, идет
прочь из дома: на волю, на ветер —

синеглазый худой идиот,
переросший трагедию Вертер —

и под грохот зеленой листвы
в захламленном влюбленными сквере
говорит полушепотом: «Вы,
там, в партере!»

* * *

Похоронная музыка
на холодном ветру.
Прижимается муза ко
мне: я тоже умру.

Отрешенность водителя,
землекопа возня.
Не хотите, хотите ли,
и меня, и меня

Духовые, ударные
в плане вечного сна.
О мои безударные
«о», ударные «а».

до отверстия в глобусе
повезут на убой
в этом желтом автобусе
с полосой голубой.

* * *

Ночь — как ночь, и улица пустынна
так всегда!
Для кого же ты была невинна
и горда?

...Вот идут гурьбой милиционеры —
все в огнях
фонарей — игрушки из фанеры
на ремнях.

Вот летит такси куда-то с важным
седоком,
чуть поодаль — постамент с отважным
мудаком.

Фабрики. Дымящиеся трубы.
Облака.
Вот и я, твои целую губы:
ну, пока.

Вот иду вдоль черного забора,
набекрень
кепочку надев, походкой вора,
прячась в тень.

Как и все хорошие поэты
в двадцать два,
я влюблен — и вероятно, это
не слова.

* * *

Как пел пропойца под моим окном!
Беззубый, перекрикивая птиц,
пропойца под окошком пел о том,
как много в мире тюрем и больниц.

В тюрьме херово: стражники, воры.
В больнице хорошо: врач, медсестра.
Окраинные слушали двory
такого рода песни до утра.

Потом настал мучительный рассвет,
был голубой до боли небосвод.
И понял я: свободы в мире нет
и не было, есть пара несвобод.

Одна стремится вопреки убить,
другая воскрешает вопреки.
Мешает свет уснуть и, может быть,
во сне узнать, как звезды к нам близки.

* * *

От заворота умер он кишок.
В газете: «...нынче утром от инфаркта...»
и далее короткий стишок
о том, как тает снег в начале марта.

— Я, разбирая папины архи-
вы, — томно говорила дочь поэта, —
нашла еще две папки: всё стихи.

Прелестница, да плюньте вы на это.
Живой он, верно, милый был старик,
возил вас в Переделкино, наверно.
Живите жизнь и не читайте книг,
их пишут глупо, вычурно и скверно.

Вам двадцать лет, уже пристало вам
пленять мужчин голубизноу взора.
Где смерть прошла косою по кишкам,
не надо комсомольского задора.

* * *

Я уеду в какой-нибудь северный город,
закурю папиросу, на корточках сев,
буду ласковым другом случайно проколот,
надо мною расплачется он, протрезвев.

Знаю я на Руси невеселое место,
где веселые люди живут просто так,
попадать туда страшно, уехать — бесчестно,
спирт хлебать для души и молиться во мрак.

Там такие в тайге расположены реки,
там такой открывается утром простор,
ходят местные бабы, и беглые зеки
в третью степень возводят любой кругозор.

Ты меня отпусти, я живу еле-еле,
я ничей навсегда, иудей, психопат:
нету черного горя, и черные ели
мне надежное черное горе сулят.

* * *

О. Дозморову

Над головой облака Петербурга.
Вот эта улица, вот этот дом.
В пачке осталось четыре окурка —
видишь, мой друг, я большой экономом.

Что ж, закурю, подсчитаю устало:
сколько мы сделали, сколько нам лет?
Долго еще нам идти вдоль канала,
жизни не хватит, вечности нет.

Помнишь ватагу московского хама,
читку стихов, ликованье жлобья?
Нет, нам нужнее «Прекрасная дама»,
желчь петербургского дня.

Нет, мне нужней прикурить одиноко,
взором скользнуть по фабричной трубе,
белою ночью под окнами Блока,
друг дорогой, вспоминать о тебе!

КИНО

Вдруг вспомнятся восьмидесятые
с толпой у кинотеатра
«Заря», ребята волосатые
и оттепель в начале марта.

В стране чугуна изрядно плавится
и проектируются танки.
Житуха-жизнь плывет и нравится,
приходят девочки на танцы.

Привозят джинсы из Америки
и продают за пол-зарплаты
определившиеся в скверике
интеллигентные ребята.

А на балконе комсомолочка
стоит немножечко помята,
она летала, как Дюймовочка,
всю ночь в объятьях депутата.

Но все равно, кино кончается,
и все кончается на свете:
толпа уходит, и валяется
сын человеческий в буфете.

* * *

Под черным небом
Петербурга,
зеленым небом голубым
глotalи пиво три придурка,
глotalи папиросный дым.

Один таксистом был, однако
попал в такую канитель:
пропал под пикую поляка,
купил себе Палас-Отель.

Второй был богом и поэтом,
то дик в сонетах, чаще —
Мил,
был левый глаз залит
рассветом,
залит закатом правый был.

А третий был всегда
печален,
хотя печальным никогда
он не был, тлея за плечами
его печальная звезда.

Бомжи уныло проходили.
Бомжи топтались там
и тут.
Бомжи бутылок не просили:
мол, эти сами их сдают.

Так у Балтийского
вокзала
мы пили пиво, поезда
гремели: мало, мало, мало.
Мы расставались навсегда?..

* * *

<p>В номере гостиничном, скрипучем, грешный лоб ладонью подперев, прочитай стихи о самом лучшем, всех на свете бардов перепев.</p> <p>Чтобы молодящиеся Гали, позабыв ежеминутный хлам, горничные за стеной рыдали, растирали краску по щекам.</p>	<p>О России, о любви, о чести, и долой — в чужие города. Если жизнь всего лишь форма лести, больше хамства: водки, господа!</p> <p>Чтоб она трещала и ломалась, и прощалась с ней душа жива, — в небесах музыка сочинялась вечная — на смертные слова.</p>
--	--

АННА

...Я все придумал сам, что записал,
однако что-то было, что-то было.
Пришел я как-то к дочери поэта,
скончавшегося так скоропостижно,
что вроде бы никто и не заметил.
Читал его стихи и пил наливку.
В стихах была тоска, в наливке — клюква,
которую вылавливать сначала
я ложечкой пытался, а потом,
натрескавшись, большим и средним пальцем,
о скатерть вытирая их. Сиренью
и яблонями пахло в той квартире.

А Анна говорила, говорила —
конечно, дочь поэта звали Анной, —
что папа был приятель Евтушенки,
кивала на портретик Евтушенко,
стоявший на огромнейшем комод.
Как выше было сказано, сиренью
и яблонями пахло в той квартире.

Есть люди странные в подлунном мире,
поэтами они зовут себя:
стихи совсем плохие сочиняют,
а иногда рожают дочерей
и Аннами, конечно, называют.
И Анны, словно бабочки, порхают,
живут в стихах, стихов не понимают.
Стоят в нарядных платьях у дверей,
и жалобно их волосы колышет
сиреневый и яблоневый ветер.

А Анна говорила, говорила,
что, разбирая папины архивы,
так плакала, чуть было не сошла
с ума, и я невольно прослезился —
хотя с иным намереньем явился,
поцеловал и удалился вон.

МАТЕРЦИННОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

«Борис Борисыч, просим вас читать
стихи у нас». Как бойко, твою мать.
«Клуб эстети». Повесишь трубку: дура,
иди ищи другого дурака.
И комом в горле дикая тоска:
хуе-мое, угу, литература.

Ты в пионерский лагерь отъезжал:
тайком подругу Юлю целовал
всю смену, было горько расставаться,
но пионерский громыхал отряд:
«Нам никогда не будет 60,
а лишь 4 раза по 15!»

Лет пять уже не снится, как ебешь, —
от скуки просыпаешься, идешь
по направленью ванной, туалета
и, втискивая в зеркало портрет
свой собственный — побриться на предмет,
шарахаешься: кто это? Кто это?

Да это ты! Небритый и худой.
Тут, в зеркале, с порезанной губой.
Издерганный, но все-таки прекрасный,
надменный и веселый Б. Б. Р.,
безвкусицей что счел бы, например,
порезать вены бритвой безопасной.

* * *

Рейн Евгений Борисыч уходит в ночь,
в белом плаще английском уходит прочь.

В черную ночь уходит в белом плаще,
вообще одинок, одинок вообще.

Вообще одинок, как разбитый полк:
ваш Петербург больше похож на Нью-Йорк.

Вот мы сидим в кафе и глядим в окно:
Леонтьев А., Рыжий Б., Дозморов О.

Вспомнить пытаемся каждый любимый жест:
как матерится, как говорит, как ест.

Как одному: «другу», а двум другим
он «Сапожок» подписывал: «дорогим».

Как говорить о Бродском при нем нельзя.
Встал из-за столика: не провожать, друзья.

Завтра мне позвоните, к примеру, в час.
Грустно и больно: занят, целую вас!

* * *

Снег за окном торжественный и гладкий,
пушистый, тихий.
Пужинав, на лестничной площадке
курили психи.

Стояли и на корточках сидели
без разговора.
Там, за окном, росли большие ели —
деревья бора.

План бегства из больницы при пожаре
и все такое.
...Но мы уже летим в стеклянном шаре.
Прощай, земное!

Всем все равно куда, а мне — подавно,
куда угодно.
Наследственность плюс родовая травма —
душа свободна.

Так плавно, так спокойно по орбите
плывет больница.
Любимые, вы только посмотрите
на наши лица!

* * *

Водки, что ли...

А. Г.

После многодневного запоя
синими глазами мудака
погляди на небо голубое,
тормознув у винного ларька.

Боже, как все мило получалось:
рифма-дура клеилась сама,
ластилась, кривлялась, вырывалась
и сводила мальчика с ума.

Плакала, жеманница, молилась.
Нынче ухмыляется, смотри:
как-то все, мол, глупо получилось,
сопли вытри и слезу сотри.

Да, сентиментален, это точно.
Слезы, рифмы, все, что было, — бред.
Водка скиснет, но таким же точно
небо будет через тысячу лет.

ВЕРТЕР

Темнеет в восемь — даже вечер
тут по-немецки педантичен.
И сердца стук бесчеловечен,
предельно тверд, не мелодичен.

В подвальчик проливает месяц
холодный свет, а не прощальный.
И пиво пьет обрюзгший немец,
скорее скучный, чем печальный.

Он, пересчитывая сдачу,
находит лишнюю монету.
Он щеки надувает, пряча
в карман вчерашнюю газету.

В его башке полно событий,
его политика тревожит.
Выходит в улицу, облитый
луной — не хочет жить, но может.

В семнадцать лет страдает Вертер,
а в двадцать два умнеет, что ли.
И только ветер, ветер, ветер
заместо памяти и боли.

* * *

Над саквояжем в черной арке
всю ночь играл саксофонист.
Пропойца на скамейке в парке
спал, подстелив газетный лист.

Я тоже стану музыкантом
и буду, если не умру,
в рубахе белой с черным бантом
играть ночами, на ветру.

Чтоб, улыбаясь, спал пропойца
под небом, выпитым до дна.
Спи, ни о чем не беспокойся,
есть только музыка одна.

Кирилл Кобрин

«КУЧА» БЫЛЫХ ВРЕМЕН

(Лингво-физиологический очерк)

А как та вещь зовется,
Я вам не назову,
Вещунья разобьется
Сейчас же пополам.

М. Кузмин

Признаюсь, мне отрадно было писать эту картину и уловлять в ней мелкие принадлежности и подробности, которые могут посторонним зрителям казаться неуместными и лишними. Но я сам имею свой уголок в этой картине: и я был в ней действующим лицом.

П. А. Вяземский

Проснешься, бывало, воскресным утром, давным-давно, в конце вельветовых семидесятых, в начале ацетатных восьмидесятых, и смотришь: какова щель меж задернутых занавесок? Нашарь очки, дурачок. Если оконное стекло сухо, если оно пылью приглушает сияние солнечного луча, или удесятерит его блеск морозным разводом, то вскакивай, плещись в ванной, поглощай неизменную яичницу, собирай драгоценные свои манатки — и в путь!

В незабвенные годы это был род работы. Той, настоящей, что поважнее маеты в последнем классе школы, деланного студенческого раздолбайства, подсчета неизменного числа «пи» за конторским столом. Настоящей, потому что именно здесь была «жизнь» с присущими ей сюжетом, драмой, чином, кровью, деньгами. Чтобы попасть туда, требовалось выйти из дома воскресным утром часов в одиннадцать, пройти мимо кинематографичных советских пенсионеров, покупающих «Правду» в газетном киоске, мимо посетителей рюмочной, разглаживающих похмельные морщины утренней стопкой, мимо одинокого физкультурника в нитяных штанах с вытянутыми коленями, мимо всей безмятежной выходной неги пролетарского района — к остановке сорочового автобуса, где уже кучковались твои подельники — и по общему делу, которое вы делали, и по гипотетическому «Делу», которое, впрочем, уже наверняка на вас завели. Подходил автобус. Смеясь и матерясь, вольница набивала его — и экипаж отчаливал, помахивая черным углом дипломата, прихваченного дверьми.

Вот так в центр города, из бесконечных Автозаводов, Щербинок, Мещер, Кузнецих, Печор направлялись косяки джинсовых парней, романтические автономные хиппаны, легендарные ветераны (в миру — молодые специалисты), куркулистые коллекционеры в костюмчиках от «Маяка», характерные спекулянты в вельвете. И если барометр показывал «ясно» и поблизости не маячил вражеский патруль, то шли «к „Дельфину“», «под „Космос“», «за „Печоры“», «под Семашко». Путь был извилист и разен, но место — всегда одинаково: утоптана плотно площадка, толпится на ней до сотни таких же, как ты. «Куча».

Воистину, «куча» была работой, образом жизни, самой жизнью. Вроде бы: ну, просто место, собираются там по воскресеньям, пластинками меняются, продают их, покупают... На самом же деле. Владение и манипуляции этими черными пластмассовыми кругами, запакованными в разноцветный картон, мгновенно включало тебя в настоящее тайное общество, карбонарскую вену меломанов, точнее — музыкальных диссидентов. А там, где тайное общество, там распорядок, иерархия, устав, сакральная лингва. «Мир человека — это мир языка», — утверждал поздний Витгенштейн. Того нашего мира уже нет, секта распалась, грам-пластинки — объект фанатичного культа — осели в лавках старьевщиков вместе с прочим культурным гумусом, богоравный «Юрэй Хип» запросто выступает в филармониях волжских городов, но. Но остался язык, тайное наречие, мова наших меломанских литургий и проповедей. Значит, тот мир еще чуть-чуть, но жив, пока жив тот язык. Язык «кучи».

Но «куча», какое слово... Оно не было ни единственным, обозначавшим эти воскресные постоялки и походы, ни самым древним. Во времена незапамятные, в начале семидесятых, человек со стопой пластинок стоял в одном ряду (не в фигуральном, а в торговом) с тетеньками, серебрящими рюшечки нейлоновых блузок, с цыганками, разложившими псевдоложиветовые псевдоджинсы для лопухов, с мужичками, обвешанными ворованной сантехникой. Все это называлось «барахолкой», что сильно обижало нашего брата, ибо свой последний «Ти Рекс» он «барахлом» не считал. Развод с «черным рынком» воследовал решительный; барахло осталось там, пластинки оказались здесь. «Здесь» стали называть «толчком».

Термин не шибко благоуханный, но точный — ибо там «толкались», «толклись», «вталкивали» свои пластинки за чужие. Есть в этом слове и нечто шинельное, унтер-офицерское, но разве любое преимущественно мужское сообщество не припахивает казармой? Так или иначе, слово прижилось, стало своим, хотя среди нас, музыкальных вольнодумцев, нашлись свои инакомыслящие, лингвистические эстеты, фанаты незапятнанных этимологий, фонетические неслухи. Не нравился им «толчок». Потому тяготевшие к солидности ценители «прогрессивного рока» (их величали «солидолами») посещали по воскресеньям не «толчок», а «биржу» (или «биржак»), зависавшие на авангарде лохмачи («смуряги») предпочитали вид с птичьего полета — «куча», а

улетные обладатели абсолютного слуха переименовали «кучу» в «тучу». Но топографически это одно и то же место.

И вот мы уже втиснуты в тряский автобус, мы уже окружены объемными холщовыми сумками, допотопными портфельчиками, ненадежными пакетами, в которых лежит то главное, ради чего. Так что же там таится? Не позорно будет назвать это запросто, по-советски, — «пластинки». Удивительно пластичное слово, а уменьшительный суффикс ласкает и нежит. Можно даже совсем растрогаться и с добрым ленинским прищуром спросить: «А это что у тебя там за пластиночка?» Кастрированный «пласт» так и остался чуждым; грубовато-пренебрежительная «пластмасса» употреблялась, в основном, для психической атаки на переговорах об обмене: «Ну, давай, посмотрим твою пластмассу!» Но лепшими, клевейшими, своими в доску (точнее, «в винил») были «дискя́» (ударение непременно на последний слог). Их всегда несколько, потому единственное число употреблялось реже: «диск» (очень нейтрально, в разговоре с непосвященным), «дисо́к» (то, что надо; ударение опять на последний слог), выпестованный «дисочек». Как и люди, «диски» присутствовали в мире в двух сферах: в материальной (как куски винила и картона) и духовной (записанной на них музыкой). И в той, и в другой существовала довольно жесткая иерархия. По своему физическому состоянию «диски» были (в порядке убывания качества):

«запечатанные» (только что привезенные с Запада, невскрытые; «целочки»);

«новые — нерезаные» (распечатанные, но чистые. Разворот обложки не вырезан, что было редкостью: именно на разворотах чаще всего печатались тексты песен, переписывать которые лень; ксерокс представлялся нам существом из сказок. На разворотах же печатали музыкантские морды крупным планом. Эти морды смотрели на вас со стен любой меломанской комнаты. Чаще — «битлы» с «Белого альбома» или «роллинги» с «Блэк энд блю»);

«новые, свежак, но резаные» (то же самое, только без разворота);

«запыленные» (они же «рабочие», «в рабочем состоянии», «с песочком, но без скачков»). Пластинки, слушанные много раз, на разной аппаратуре, с шумовым фоном («песок»), но вполне пригодные по состоянию: «слушать можно»);

«задроченные» (все то же самое, только «слушать нельзя». «С этих дисков стружку сняли»);

«поплавленные» (они же «плавленные». Безоговорочно испорченные тепловым воздействием. «На этом диске яичницу жарили»);

«с клееным (или переклееным) пятаком» (дальше некуда. «Пятак» с «фирменного диска» переклеили на советский. Покупаешь, например, семьдесят седьмой «Пинк Флойд» за пятьдесят рублей, приезжаешь домой, ставишь на «вертак» и слышишь речь Брежнева на XXIV съезде КПСС. Называлось это «наебать» («всучить фуфло»). На «куче» ходили легенды о «диске» с «клееным пятаком», который воспроизводил песню со следующим припевом: «Ты никому не говори, что мы тебя так наебали».

«Всучивать фуфло», «наябывать» было опасным ремеслом — могли «отпиздить». Способов защиты от «фуфла» насчитывалось несколько: проверка «массы» на гибкость (советские «диски» — «дубовые»), сличение количества песен на обложке, «пятак» и самой пластинке, тщательное изучение поверхности «пятак» на предмет шероховатостей и складок. В девяти из десяти случаев — помогало).

Вообще, физическое состояние «дисков» и «конвертов» составляло тему не меньшего количества разговоров, нежели их содержание. Что обсуждалось: очищение «диска» от скопившейся в бороздках пыли и грязи с помощью клея ПВА; придание «запыленному диску» товарного вида путем натирания оногo спиртом или ацетоном; способы преодоления «скачков» утяжелением головки «вертака»; отличия старого «дубового»; американского конверта от нового, «туалетного»; сорта полиэтилена, из которых мастерится «гондон» для «конверта»; и многие другие достойные вещи обсуждались. Тут были свои секреты ремесла, свои архаисты и новаторы, строгие судьи и придирчивые эксперты. Разгильдяи подлежали общественному порицанию, небрежность обхождения с собственными (и, тем более, с чужими) «дисками» сурово осуждалась; «пластмасса» таких «тоже мне друганов» была «как из жопы».

И все-таки, ради чего же городили огород, толкались на «толчке», сбивались в «кучу», торговались на «бирже»? Что было той субстанцией, запрятанной меж бороздок черного винила; субстанцией, пометившей всех нас невидимыми знаками отщепенства, отдельности, свободы от Пахмутовой с Добронравовым, Лещенко с Кобзоном, Косыгина с Топтыгиным? В чем состоял Символ Веры?

У Союза Композиторов — Музыка, у «мажоров» — «музыка», а у нас — «музон». «Музон» был неким архетипом так называемой «настоящей (клевой) музыки». К архетипу можно приблизиться, но достигнуть — никогда. Как все птицы, летящие на поиски бога Симурга, и есть Симург, так и все самое «клевое», что было в наших пластинках, и есть «музон», скрываемый иногда под словосочетаниями типа «полнейший оттяг» или «тащилово». Собственно, об этом архетипе и не известно ничего, кроме того, что он другой, не такой, как у остальных советских граждан. Неотрефлексированность Символа Веры рождала яростные споры, глухое непонимание, холодную вражду. Среднестатистический положительный толчок «тащился» от «рокешника» (что-то вроде рок-мейнстрима середины семидесятых), по возможности, «клевого». На молодняк, променявший «хард» (ударение на последний слог; хард-рок) на «тяжмет» (хэви-метал), интеллигентная публика смотрела с отвращением. Сам «рокешник» альтернативами не баловал, будучи либо «забойным» (побыстрее), либо «запыльным» (наоборот); в последнем блюзы и баллады именовались «оттяжниками», а задушевная соло-гитара — «соляком», «солянкой». Основная масса «дисков» представляла собой ходовые альбомы танцевального диско; «солидолы» презрительно на-

звали их «дискотней», но ценили за меновую стоимость. Еще набирала силы «волна» («нюю вэйв»), но чтобы стать «волнистом», надо было состричь патлы, а их и так истребляли на военных кафедрах; в общем, на первых порах запуганный полковниками олух видом своим почти не отличался от стильного любителя «Полис». «Джазяра» и прочие изыски, скопом именуемые «смурью», были редки, дороги и решительно неменябельны. Иные жанры определялись скупой: «танцевальный рокешник», «рокешник с дудками» (классическое определение джаз-рока), или, наоборот, пространно и туманно: «песняки такие, под Элтона, но клавишей поменьше, приятный такой музон, оттяжный».

Вся эта музыковедческая изощренность, терминоведческий изыск, поиски гамбургского счета (извечная проблема: «Кто круче, „Пепл“ или „Цеппелин“?») произрастали на скользкой и опасной почве. Скромный меломан с пятью-семью «фирменными дисками» был окружен врагами. Жулики, переклеивавшие пятаки и натиравшие измызганный «Грэнд Фанк» ацетоном, не в счет. Ему — меломану, «другану», «чуваку нормальному», «чуваку клевому» — грозил с одной стороны «мент», а с другой — «шакал». «Менты» (они же «мусора») «заметали в мусоровню», отбирали пластинки (якобы для «реализации в госмагазине по госцене»). Вы когда-нибудь видели фирменный «Назарет» в советском госмагазине за три пятьдесят?), иногда били, но всегда рассылали клязусы на место работы или учебы. Из-за такой бумаги вас могли выгнать из института как спекулянта и проводника буржуазной идеологии. Если сочтут полупроводником, то влепят выговор и будь счастлив. «Менты» устраивали облавы, часто с собаками, поэтому я всегда соперничал партизанам, удиравшим от фашистов и их волкодавов в югославских фильмах.

«Шакалы» нападали стаями, «мочили» (один раз даже кого-то зарезали) и «шакалили» (т. е. отбирали пластинки). «Шакалье» группировалось по принципу землячества: кузнечинские враждовали с дзержинскими, автозаводские — с печорскими. Чем ближе середина восьмидесятых, тем чаще «махачи», «мочиловы» (массовые побоища) на «толчке», тем меньше «дисков» и больше кастетов, свинчаток, ножей, даже самопальных бомбочек...

И все же. Если ты «чувак нормальный», если ускользнул от стайки «шакаля» у «Водного», если в это воскресенье «менты» «гоняют» филателистов, если в портфеле твоём и «Назарет», и «Цеппелин», и «Двери» для хаерастых, и Заппа для смуряги Дрюли, и «юговский „Би Джиз“ на добивку», и «Санта Эсмеральда» с «Ла Биондой» на обмен, то все в кайф, и денечек выдастся клевым, и рокерская твоя Фортуна не повернется к тебе задницей, обтянутой «левисами». Что тогда?

Тогда ты попадад в жаркий лексический котел, в напряженную языковую игру, где «все заебитлз», где «Эмерсон Лег и Помер», где Стиви Уандер по расовому принципу именуется «шахтером», а Чеслав Нимен, исходя из гражданства, — «демократом», где твой «друган» Гриха на вопрос, какой у него «Шабаш» (т. е. «Блэк Саббат»), радостно вопит: «Сабат, бляди сабат!» (т. е.

«Sabbath Bloody Sabbath»), где какой-то хмырь предлагает махнуть твою «лесенку» на «макара шестого» и «добить демократом», но получает «полный отсос», а другой хмырь мечтает сдать тебе «слэйдятинки»; где подавший Карась распевает «Созрели вишни в саду у Махавишны» и «Назаретом меня не буди!»; а «Назарет» свой ты «сдашь», «возьмешь» «Шоколадку», а на сдачу — тринадцатого портвешку и на травке сладко заспиришь с «корешками», играл Фрипп на «Лоджере» или нет... И, как сказал глуховатый стилист, никто никогда не умрет.

Моментальный снимок: лето тысяча девятьсот восемьдесят третьего года. Этот, длинный, слева, спился, вон тот, с сигаретой, звонил давеча из Нью-Йорка, трое в центре — уже лет двенадцать репетируют в подвале, недавно зашел послушать: все тот же «Кинг Кримсон», ну их; этот тоже спился, Серый исчез куда-то, а вон, с семьдесят восьмыми роллингами, служит в банке. этого не помню, с этим не знаю что, а вот тип — здесь худущий, веселый — обрюзг, хмурый такой, морда матовая: сегодня видел. В зеркало.

А последним рыцарем «кучи» так и остался Гриха. Он же «Поц», он же «Грихштоферсон».

Алексей Машевский

СНЫ О ЯБЛОЧНОМ ГОРОДЕ*

* * *

Так что впечатления
Не из жизни этой...
Летного томления
Под крылом полсвета,
Оставляя ниже пласт
Облаков лежалых.
Но и память не отдаст
То, что убежало.
Я родиться мог бы там —
Там, за поясами
Временными (по пятам
Все идут за нами),

В этом сне, как водоем,
Солнцем подогретом,
Том, который мы зовем
Странно: Новым светом.
И тогда бы этот пыл
Простодушно-ярой
Юности твоим бы был
С корочкой загара.
И тогда не знал бы ты
То ли гнета, то ли
Старой крови густоты,
Все впитавшей соли.

НЬЮ-ЙОРК

Здесь не одна, а двадцать, тридцать башен Нимврода,
Оттого, вероятно, такое и языков смешенье
Черно-бело-оливкового (иногда голубого к тому же) народа:
Шорты, ролики, пиджаки, прегрешения, украшения.
И когда крокодил-лимузин шестидверочный застревает,
Выползая на Пятую авеню, и блеклое гаснет Don't walk**,
Я поверить готов, что жизнь, в самом деле, бывает
И такой, какую хотел бы придумать (но вынести

вряд ли бы мог).

Тем свободнее здесь, тем хмельней... В изобилии этом
Выбирать соответствующую ячейку не надо себе,
Лишь смотреть, лишь дышать охлажденным и сразу согретым
Приноравливающимся воздухом к праздной ходьбе.

* Яблоко является символом Нью-Йорка.

** Стойте (англ.), световой сигнал на уличном переходе.

Посмотрите: ничто ничему не уступит — и, кажется,
нет никакого
Центра, полюса притяжения, поля, «великих начал».
Так коралловый риф формируется, к слову находится слово
И кончается счастье, которого не замечал.

* * *

Вот что я понял, бродя по Бродвею,
Взглядом скользя по витринам, по лицам:
Да, этот город и вправду столица
Мира с всей жаждой и жадностью всею.
В будущей жизни хотел бы родиться
Здесь, но о нынешней не пожалею.
Так уж легла она листиком прелым
На петербургский асфальтовый глянец,
Что оглянуться душа не успела,
И потому я теперь иностранец
В этом скалистом гнезде, где пригрелись
Нации каждой свои кукушата...
Знали бы вы, что за дикая прелесть
В черных громадах на фоне заката,
Небо прочесывающих гребенкой,
В варварском гомоне и многолюдстве
Улиц, в нежнейших, обернутых пленкой
Холоде, чопорности, распутстве,
В этом уюте каком-то стеклянном,
В этом отчаянии спокойном,
В воздухе пряном и чуточку пьяном,
В хаосе? — да — эклектически-стройном.
И никому — ни поблажки, ни скидки,
Ни преимуществ ума и таланта.
Брошены в ночь ариаднины нитки
Каждой безвинной судьбы варианта.
И все равно, что там: деньги ли, слава,
Мусорный ящик, подземки вагоны,
Спекшиеся воедино, как лава
Жизни, текут и текут миллионы.

* * *

Все привилегии отменены:
Просто — родиться, жить, умереть.
Нет у бессмертия, славы длины,
Нет ширины, не предвидится впредь.
Как ни вытягивай вертикаль

Башни, пронзающей облака,
 Гордый бетон этот, гордая сталь
 Только пока.
 Только пока твое сердце тук-тук,
 Впрочем, как всё, что, не зная цены
 Собственной, канет когда-нибудь вдруг.
 Отожествлены
 Все мириады жизней-смертей;
 Чувствуешь: это и есть твой глоток
 Вечности, скармливающей детей
 Собственных времени, если виток
 Не закорочен его, не зажат.
 Разве чего-то еще нас лишат?..

* * *

Вот самозабвенно: черный, белозубый —
 С плеером, в наушниках и на коньках
 Роликовых... Что ему Гертруды и Гекубы,
 Кисти драгоценные в немеющих руках!
 Рядом Метрополитен, хранящий бижутерию
 Духа всех народов и эпох.
 Только в чью-то призванность и избранность не верю я —
 Этот мой, балдеющий, чем плох?
 О, пускай, блистая, золотая нитка тянется,
 Проницая тайное шитье
 Времени отмеренного. Кто-нибудь поранится,
 Ненароком тронув острие.
 Но ничто ничем не заменимо — лишь наложена
 Эта жизнь на ту: невдалеке
 Вспыхивает, гаснет, куролесит, ест мороженое,
 На коньках несется по дуге.
 Кончится, конечно, но смотри скорей, как пойманный
 Взгляд движенье торса ловит, плеч,
 Шеи... Так на килике с аттических воинами
 Юноша шагнул, сжимая меч.

* * *

В Метрополитен мне смотреть Ван Эйка
 Пара глаз мешала, волос оправа,
 Пара стройных ног и слепая змейка
 Ремешка, болтающегося справа,
 В двух шагах — и дальше, опережая,
 Отставая, шел по притихшим залам;

Даже в лифте с первого этажа я
 Поднимался рядом к Голландцам малым,
 К беспробудной дымке Коро, Эрота
 Плутовой улыбке — белее мела,
 И подружка Дельфтца вполоборота
 Понимающе на меня глядела.
 Вот и все! Подсолнухов увяданье,
 На века растянутое Ван Гогом,
 Озаренье кисти, восторг ваянья —
 Вам о главном печься, а не о многом...
 Только главное-то — оно как эти
 Растворенные в брызгах фонтана стразы
 Солнца. Так ведь и не заметит,
 И уже не будет другого раза.

* * *

Хорошо мне было: ходил один
 Целый день по залам — от полотна
 К полотну, любимых своих картин
 Узнавая облики, как со дна
 Доставая камешки — цвет не тот,
 И размер иной, и деталей ряд
 (Репродукция или память врет?).
 И мадонны тайно кривили рот,
 А апостолы отводили взгляд.
 Но мне было весело, словно их
 Я застиг с поличным, свой строгий вид
 Принимающих — из дверей пустых
 Так и ждущих зрителей...

Статуй, плит,
 Ваз, доспехов, кресел, надгробий, стел
 Весь музейный вылощенный развал
 Я, представьте, вежливо осмотрел
 И еще ходил бы, да вот устал.
 Вот устал... все канет, все под стекло
 Ляжет или же просто в пыль
 Распадется: Дюрер, Латур, Калло,
 Торс Гермеса, глиняная бутылка
 Из каких-то афро-азиатских стран,
 Из ушедших в землю веков сырых...
 Но сейчас, во-первых, мне этот дан
 День и все, что в нем, во-вторых!

* * *

Это и есть Атлантида, грезившаяся Платону, —
 Всплывший, глубоководный остров ли, материк,
 Из ничего возникший, брат водяному лону,
 Город — еще подросток или уже старик?
 Так размахнуться можно, лишь не подозревая
 О стерегуших где-то ужасе и конце.
 Мир от Кореи Южной сливший до Уругвая,
 С варварскими чертами времени на лице...
 В парке Центральном, там, где роликовые пары
 Крутят свой ежедневный пестрый кордебалет,
 Шепчешь: «Все флаги в гости к нам будут...» Милый, Старый
 Свет — только остов мысли, будущего скелет.
 И почему-то здесь мне вспомнилось, как шумеры,
 С умершим и собаку верную хороня,
 Клади ей мозговую косточку... Сколько веры,
 Сколько усилий! — Толща выпластована, броня!
 Что ж, поплавком качайся, вытолкнутый из мрака,
 Над задремавшей бездной, тяжесть ее прорвав.
 Юным таким, высоким, стройным нужна отвага,
 Сказочное везенье и незлобивый нрав.

* * *

Что-то есть минойское в рекламе,
 Кносское в крутых особняках,
 В подростковой жизненной программе:
 Взмах весла, строительства размах.
 Знаю вас, пловцы-островитяне,
 Рыбками застрявшие в веках.
 Бабочки на фресках, осьминоги
 На сосудах с горлышком — грибок,
 Мотоцикл быкастый, круторогий,
 Детские прирученные боги,
 Вскормленные козьим молоком.
 Жизнь удобней, праздничней не может
 Быть, самоуверенней, нежней —
 Так и льнет к загаром взятой коже,
 Не интересуясь, что под ней.
 Впрочем, разве что-то есть дороже
 Глянцем счастья ослепленных дней?
 И, конечно, шорты к долголетней
 Юности, конечно, ледяной
 Оранж-джус. Не первой, не последней —
 Стать одной, единственной страной!
 Спи покамест в теплой дымке летней,
 Не тревожась долгой тишиной.

* * *

Это рай, впрочем, рай, где нас нету,
Метрополитен-парадиз,
Не Гудзон обнимающий — Лету,
Сверху смотрящий, сверху вниз.
Не плывите сюда, не летите.
Счастье — лишь недолет, перелет.
Так на Фере, на призрачном Крите
Жизнь нездешняя фреской живет.
Можно только мечтать и стремиться,
Лишь альбомчик мусолить цветной.
Эта нация-отроковица,
Новый свет или просто иной.
За Геракловыми столпами,
Там, где сходятся ночи пути,
В Массачусетсе, в Алабаме
После встретимся, после, — прости!

Июль-август 1997

**ОЧЕРКИ О НАЗВАНИЯХ
И ПРОСТРАНСТВАХ**

Александр Шаталов

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК С ПАВЛИНОМ В РУКАХ

Пожалуй, единственная достопримечательность
этого города — антикварные лавки на Вестхаймере:
старые пыльные диваны,
на которых поумирало не одно поколение техасцев,
поржавевшие баночки,
стертые женские золотые кольца с выпавшими камнями;
худая лошадиного вида француженка касается моей спины,
желая этим жестом дать мне понять,
что я должен обязательно купить ее обеденный стол.
В грязном стакане на полке среди флаконов и бутылок
не хватает лишь розовой вставной челюсти
на стальных болтах — памяти о первых переселенцах
и их юных потомках.
Но вот в этот сарай,
который называется антикварным магазином,
чудо вошло танцующей походкой в белом костюме
изящном и с прилизанными волосами,
взгляд на меня бросил и к продавщице отвернулся,
мальчик почти, так бы я его охарактеризовал,
в постели ведущий себя уж точно как мальчик, наверное.
Под мышкой он внес в магазин павлина,
похожего на серую тоскливую курицу,
живого, живого, конечно, а не чучело,
что было бы для антикварной лавки понятнее.
О, эта вершина кокетства,
по городу ездить с павлином под мышкой!
Пока я рассматривал техасскую пыль,
продавленные кресла и треснувшие золоченые рамы,
а юноша с продавщицей решал какие-то свои проблемы,
павлину стало скучно,
и он, повертев в разные стороны куриной своей головой,
а сидел он на столе рядом с молодым человеком
и продавщицей этой глупой,
с легким треском, с которым обычно демонстрируют
старинные шелковые юбки,
распахнул свой хвост, переливающийся
изумрудно-зеленым и темно-синим.
Перья его подрагивали, отражая собой солнце,
падающее сквозь пыльные окна,
стеклянные немые полки и тусклую посуду.

Нежности сколько надо, наверное, иметь,
чтобы таскать с собой по городу птицу,
голова которой будет все время из-под локтя свисать,
а хвост время от времени распускаться самопроизвольно.
Юноша искоса посмотрел вокруг —
все ли по достоинству оценили его птицу,
живое такое мальчишечье украшение,
потом грубо взял ее под мышку и вышел из магазина
к своему автомобилю.
Глупая жирная птица, гадящая в доме и машине,
перьями своими лишь и выделяющаяся,
искрами зелеными и золотыми ободками,
и лиловыми восточными сапфирами подрагивающими.
А юноша был строен и задумчив,
фигура его была пропорциональна и гармонична,
под брюками угадывались большой член
и высокие бедра, кисти рук удлинены, а пальцы
в меру чувственны и безвольны.
Педераст, конечно, что было отметить мне
особенно приятно.

30 декабря 1996, Хьюстон

ОЛИВЫ (II)

За всем этим стоит просто ненужность.
Дорога из щебенки, ведущая куда-то в гору,
парни на мотороллерах, разъезжающие по берегу,
худенькие мальчишки в стареньких плавках,
пропахших мочою и выцветших между ног,
возле лимана и дикого пляжа,
куда местные парни приезжают трахаться
с немецкими туристками, снятыми на станции.
В тени старых акаций и эвкалиптов
за столом, застеленным плотной новой клеенкой,
всегда сидит одинокая девушка, попавшая когда-то
в автомобильную катастрофу,
с тех пор лицо ее пересечено большим шрамом
и один глаз стал меньше другого в два раза.
Девушка читает английские романы
и подает редким клиентам орандж
или дешевое греческое вино.
Ее мать, не разговаривающая по-английски,
моет посуду и гоняет по двору
лающую на проезжающие машины дуру-собаку.
Вот, собственно, и все.
Оливковые рощи, сентиментальные романы,
жизнь, проходящая в ожидании случайно попавших

сюда туристов. А было бы прекрасно,
если бы эта девушка соблазняла на этом перекрестке
слабовольных и ебучих греческих юношей,
а потом отрубала им головы и закапывала их
в горшки с базиликом, пахнущим ядовито,
вечно пряным, обсыпанным жужжащими мухами.
Что еще с этими юношами делать,
если они на тебя не смотрят, а ебаться хотят
только с толстыми немками.
Белозубые, с легким пушком на подбородке,
пахучим и нежным членом
с необрезанной крайней плотью, вздымающимся
между ног так красиво, бессмысленно в пальцах
подрагивающим, когда мальчиковые яйца
к губам своим подталкиваешь настойчиво и упорно.

1996, о. Корфу

* * *

Вторая зима в Нью-Йорке.
Знобит. Мелкий снег сечет лицо.
Металлические дужки очков
обжигают и без того окоченевшие уши.
Когда был маленьким, обморозил себе руки,
и теперь они замерзают при малейшем похолодании —
тонкие красные сосульки.
От люков сабвея идет постоянный пар
и инеем застывает на ветках деревьев,
такое чувство, что город все время дымится,
торф горит или из железного чрева
тараканы фонтаном в небо выбрасываются,
красным салютом, спринцовкой, насосом,
членом огромным, сперму в горло гонящим,
кофе выпить из автомата,
согреться где-нибудь на углу,
прохожих рассматривая, с черным бродягой
парой слов перекинуться: зима вот,
«Сан-Франциско кроникл» пролистать,
через сугробы потом,
на банановой кожуре поскользнувшись,
снова домой, за компьютер, пока вечером кто-нибудь
не позвонит, чтобы в бар попытаться опять соблазнить,
потанцевать, мальчиков потискать, и в туалете
мимо унитаза ссать, надравшись,
бледный и осоловевший.

24 декабря 1996,
Нью-Йорк

* * *

Глаза закрою, сплуну раздраженно,
 сквозь губы что-то тебе процежу.
 Снег в окно залетает, пока я, обнаженный,
 люблюсь твоими ягодицами, похожими
 на два шарика розового пломбира,
 разминая их сильными пальцами,
 проводя между ними нежно языком,
 только покачивается ночная палуба,
 только поскрипывает под тобой гостиничная кровать,
 вот уже ревность истаяла в слове, как жалоба
 или просьба к брату невысказанная не умирать.
 Соединение двух евангелий,
 не до смерти зацелованных родными и близкими тел.
 Снег льется и сыплется, сладкий, дурманящий, ангельский,
 сколько ни трогал, но сразу же снова хотел.
 Полосу кокаина с живота твоего вдыхаю,
 воздух сквозь горло проходит с трудом,
 зубы раздвинуты металлической расческой.
 Я кусаю тебя — чувствуешь? — опять кусаю
 и смеюсь так громко, что крови не видно во рту.

24 декабря 1996

* * *

Да, он таким и может быть,
 «в сферу удивленного взора
 алмазный Нью-Йорк берется»,
 сосны молодые уже выросли, газоны подстрижены,
 облака кучерявые на небе замерли без движения.
 Какой же эта жизнь должна быть безумной,
 чтобы вдруг картинкой такой обернуться.
 Языка моего порезанного
 по кадыку твоему нервное движение.
 Голову на колени твои положу,
 глаза зажмурю, чувствую
 ветра горячего слабое дуновение,
 пахнет травую скошенной,
 может быть, манго немного, сужу
 по знакомым запахам.
 Мандарины зеленые темнеют среди листвы,
 вдалеке какие-то строения
 закатное солнце отражают,
 божья коровка лениво ползет по руке,
 в чуть приоткрытый мой рот
 гусеницы шелковистые вползают,

за ухом у меня цветок тропический полыхает,
 волосы локонами по плечам рассыпались,
 кожа на руках моих лопается и оттуда выбегают
 жуки какие-то навозные, сороконожки
 и прочая нечисть и мразь,
 и весь я отныне под небом безумным и чистым,
 на этом чужом континенте,
 где овцы на зеленых лугах пасутся,
 ветром становлюсь порывистым
 или ручьем лучистым,
 Нью-Йорком алмазным,
 живым продолжением собственного хуя.

31 декабря 1996,
 Хьюстон

* * *

Евг. Берштейну

В китайском квартале покупать дешевые овощи
 и свежую рыбу, открытки с видами города
 всего по десять центов за штуку; золотой карп, вытащенный
 продавцом на лед,
 еще бьет хвостом, тяжело шевеля жабрами, и косит на тебя
 помутневшим взглядом,
 как только что выебанный китайский мальчик, лежащий
 на кровати в нелепой позе и с раскоряченными ногами.
 Перламутровые розовые креветки сыпятся в кулек, свернутый
 только что
 из свежей газеты, влажные палочки сельдерея, зеленые листья
 салата и курчавые
 перья петрушки, щебетанье весенних птиц,
 ветер с залива; потом подняться по маркету,
 заходя по дороге во все магазинчики, — дело приятное.
 разглядывая прохожих,
 встречаясь взглядом с торчащими у витрины *Mauc's*
 беззаботными юношами,
 понимающе улыбаясь друг другу: весна; только что
 прошедший дождь
 оставил на асфальте небольшие лужи, в которых
 отражается солнце, жирные чайки кружатся над заезжими
 туристами, крошащими им
 специально для этого купленные булки, кричат и шумно бьют
 крылами воздух, как
 лодочки, которые бьют веслами о воду, пытаются
 от нее оторваться и хотя бы на миг стать похожими
 на порхающих бабочек,
 капустниц или лимонниц.

Fisherman's wharf со спортсменами, бегущими
 по набережной в широких трусах,
 гордящимися набухшим членом, мешающим методично
 и в такт раздвигать колени;
 когда приседают, член все время норовит
 выскользнуть и неприлично повиснуть, сдавленный
 толстой резинкой; ходить вечерами за фруктами
 в один и тот же магазин, чтобы поглазеть на рыжего
 продавца — новое приобретение
 хозяина; таков стиль жизни — чашечка кофе, тренажеры,
 вечеринка на маркете, иногда
 сауна или клуб, как кому нравится,
 шитье лоскутного одеяла в память умерших от AIDS друзей.
 Ты говоришь, что все надоело; думаю, шутишь или лукавишь;
 просто воздух свежий
 горло студит, на арбузной корке поскальзываешься, слезы
 кончиком газеты
 смахиваешь, просто ноги свои худые в зеркале
 рассматриваешь, волосы теребишь,
 открытку студенческому другу пишешь;
 ах, эти калифорнийские китайские мальчики,
 продавцы в магазинах или официанты в барах,
 даже и не мальчики совсем, во всяком случае без ципок
 на пальцах, без прыщиков
 на подбородке, без заусениц и вечно разбитых коленок,
 поросль такая растительная, лица смуглый овал,
 бедер узость, взгляда беззащитность, карманный компьютер,
 по которому можно
 переписываться с мамой или посылать записки приятелю
 на соседнюю улицу —
 подарок другу к новому году или дню рождения.

31 декабря 1996

JFK AIRPORT (III)

Да, это место свиданий, так можно считать:
 уже порядком устаревший и утративший свою мощь
 аэропорт все еще дышит, пульсирует бортовыми огнями
 самолетов,
 желтым светом такси, голубыми кубами залов ожиданий,
 ночным светом фар, свежим океанским ветром;
 весело шумящие туристы из Западной Европы или Японии
 торопятся гурьбой забиться в автобус, чтобы поскорее
 оказаться на Манхэттене, другие едут до сабвея,
 чтобы приехать туда же через час-полтора,
 смотря через окна вагонов на пробегающие мимо здания,
 подставляя лицо первому весеннему солнцу,

заглядывая через плечо к сидящему рядом подростку, читающему Стейнбека и машинально крошащему себе под ноги картофельные чипсы.

У меня еще масса времени.

Я вижу, как проходит пожилая индианка в развевающемся сари,

надевшая сверху розовую шерстяную кофту.

Ее встречает вертлявый мальчик, пришедший с отцом, на отце немного засаленный костюм и грязные туфли, на мальчишке застиранная гэповская футболка.

Группа ребят в белых рубашках и галстуках обступает пассажиров и вкрадчиво начинает с ними говорить про жизнь — баптисты, летят на штатский конгресс молодежных организаций, а пока практикуются на пожилых.

Растроганная женщина в голубом парике и брючном костюме дает им свой адрес в обмен на рекламную брошюрку «Бог всегда с вами».

Соседи справа оказались евреями, глава семейства снял шляпу и стал долго с помощью булавок прикреплять к волосам белую шапочку.

У меня текут по щекам слезы,

просто так, без всякой причины, и я вижу,

как некоторые пассажиры в зале ожиданий начинают на меня недовольно коситься, перебьются,

думаю про себя,

отворачиваюсь к окну — там дождь, и видно, как самолеты заруливают на взлетную полосу.

Место расставаний. Юноша в техасской шляпе и сапогах мужественно жмет руку провожающим его приятелям, потом легко подхватывает рюкзак и направляется к стойке регистрации,

под ногами вертится кружевное месиво играющих детей,

я бесцеремонно заглядываю в глаза аккуратному парню, читающему «Таймс»,

он некоторое время непонимающе смотрит на меня и потом снова обращается к журналу.

Спускаюсь в туалет, здесь же и телефонные кабинки, стягиваю с себя свитер, переодеваю носки, пахнет каким-то дезодорантом, мое лицо в искусственном дневном свете кажется особенно бледным и осунувшимся.

Нью-Йорк. Жизнь, проходящая мимо тебя,

оставляющая ощущение оскала

от переливающихся цветными огнями витрин магазинов, рекламы сомнительных товаров, одиноких деревьев на

Times square,

увешанных новогодними гирляндами,

темных провалов подворотен, гудящих возле ночных баров мужчин в черных кожаных куртках.

Влажного ветра порыв, брызги в лицо легкой мороси.

Нью-Йорк. Часть моей жизни, оставшаяся здесь,
 в шорохе старых газет и телефонных звонков,
 встреч с бывшим любовником, уставшим и затравленным,
 еще сохранившим мальчишеские повадки
 и произвольное кокетство, которое я невольно отмечаю,
 смотря на него как бы со стороны и чувствуя при этом
 за него какую-то неловкость; копание в букинистической лавке
 в поисках неизвестно чего,
 или ночное шатание по Второй авеню,
 желая какое-нибудь кольцо старое выискать
 на блошином рынке или серебряный русский портсигар,
 одинокие мастурбации в холодном гостиничном номере,
 беспокойный утренний сон, когда ветер колышет занавеску
 и из окон видна крыша соседнего дома, на которой
 нагишом загорает молодая пара,
 поливающая друг друга липким спреем
 из прозрачной пластиковой бутылки.
 Я почти растворяюсь в этом городе,
 становясь его частью и тем вот негром, с размаху бьющим
 по мусорному баку, и наркоманом, вкалывающим себе
 в вену дозу в общественном туалете, и бабой,
 виляющей толстым задом и вышагивающей на высоких
 каблуках по Бродвею,
 красивым студентом, зарабатывающим себе на жизнь
 мужской проституцией.
 Закрываю глаза, и кажется, что ты снова садишься мне
 на колени
 на Гоголевском бульваре и начинаешь целовать в губы,
 ничуть не стесняясь прохожих, напившийся и неумелый.

28 февраля 1997

* * *

Ты опять приходишь ко мне во сне,
 я отворачиваюсь лицом к стенке,
 но чем сильнее зажимаю глаза,
 тем отчетливее вижу твою фигуру;
 ты о чем-то размышляешь, вижу, как говоришь,
 оглядываясь на знакомую обстановку,
 иногда вижу, как, сугулясь, сидишь за кухонным столом,
 или на краю моей постели со своей раскрытой тетрадкой;
 действительно, у меня в доме ничего не изменилось,
 те же книги стоят на полках
 и те же фотографии, большая картина
 над диваном с летящими по небу
 мертвыми и почерневшими фигурами
 двух любовников с впадинами вместо глаз,
 на столе мой компьютер, заваленный бумагами,

старый дагестанский ковер с красными и желтыми лилиями;
я боюсь с недавних пор смотреться в зеркало,
фигура потеряла пропорциональность,
живот стал обрюзгшим и круглым,
маленькая голова и худые ножки,
тело начало бороться со мной;
когда смотрюсь в зеркало, представляю
сразу себя покойником:
грузное склизкое тело, еще не успевшее одеревенеть,
рвущаяся от прикосновений бесчувственная кожа,
весной оттого так пахнет маняще оттаявшей землей,
черным сыпучим черноземом, что хочется
в эту землю наконец лечь, распрямить уставшие суставы,
расслабиться и навсегда превратиться
в эти звонкие весенние ручьи, грачиные крики,
мелкую зеленую поросль вдоль ограды;
я все еще продолжаю с тобой о чем-то говорить,
рассматривая окрепшую фигуру,
ты по-прежнему не начал еще курить,
вокруг соска появилась какая-то татуировка,
вдруг в середине марта выпал снег,
я чувствую, как от пледа пахнет твоим телом,
это бессонница, случайный ночлег
в чужом доме после вечеринки,
когда прихожу домой после работы,
стараюсь скорее выключить свет,
быстро раздеться и вжаться лицом в угол дивана,
как бы тороплюсь на свидание, и если тебя вдруг нет,
когда я глаза закрываю, то начинаю вновь ревновать,
сон не начинается, я начинаю вспоминать все обиды и ссоры,
но чаще ты все же приходишь откуда-то с балкона,
бумаги мои на столе перебираешь,
медленно расстегиваешь рубашку и гасишь свет,
и кажется, что жизнь продолжается безумно, бестолково,
так что видно, как сердце
величиной с кулачок сокращается в груди,
кровь хлещет горлом и снег выпадает за окнами снова.

16 марта 1997

ДРУЖЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Я служил в стройбате. Попав из карантина в роту, был допрошен старшиной.

— Образование?

— Высшее.

— Высшее, говоришь? А какой институт закончил?

— Институт культуры.

— Культуры, говоришь? Так вот имей в виду: здесь культура не соблюдается. Шевелиться в лесоцехе не будешь — огребешь обрезной доской по башке!

1982

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Я служил в стройбате. Как-то старшина попросил меня провести политинформацию в роте. Меня иногда просили политинформировать военных строителей.

Политинформация проходила в Ленинской комнате. Я вышел к кафедре. В Ленинских комнатах воинских частей было принято устанавливать кафедры точь-в-точь такие, как в вузовских аудиториях. Так вот, вышел я к кафедре и начал бубнить. А дело было при коммунистах. Я вяло похвалил КПСС за мудрую внешнюю политику. Монотонно отчитал НАТО за международную агрессивность. Сравнил СЭВ и международный банковский капитал не в пользу последнего. Военные строители не обращали на меня ни малейшего внимания. Ребята спали, играли в карты, рассказывали друг другу анекдоты про отношения между противоположными полами. Анекдоты были с неприличными словами.

Чувствуя, что внимание аудитории, как и всегда, мне привлечь не удастся, я закруглился и пошел на место. А старшина вдруг и говорит: «Эй, военные! Задайте кто-нибудь выступавшему дополнительный вопрос!»

«Какой дополнительный, — подумал я, — когда и основных-то не было?» И вдруг услышал: «Эй, еврей! В Израиль хочешь?»

1982

МУЗЫКА ЛУЧШЕ

Я служил в армии еще при Брежневе. В нашей солдатской Ленинской комнате стоял телевизор. Как-то стройбатовцы сидели в ней. Выпивали, играли в карты, болтали. А по телевизору ленинградский канал показывал концерт из Большого зала ленинградской Филармонии. Между прочим, играли Шостаковича, а дирижировал Мравинский, о чем стройбатовцам поведала теледикторша. (В принципе музыка служила фоном пьяному гаму, и на нее мало кто из присутствовавших обращал внимание.)

В Ленинскую комнату вошел старшина, подошел к телевизору и переключил ручку на первый канал, по которому шла трансляция речи генсека. Старшина объявил: «Кончай галдеть! Слушать выступление Леонида Ильича Брежнева!» Стройбатовцы уныло вздохнули, но не рискнули возражать, и стали смотреть в телек, делая вид, что слушают. Внимать генсековскому занудству никому не хотелось, но по тем временам, сами понимаете, сообщать об этом в различных госучреждениях, в том числе военных, было небезопасно.

Впрочем, один солдат не испугался. Ефрейтор Миша Гончарников встал со своего места и подошел к телевизору. Одной рукой Миша отодвинул старшину, а был он настолько здоровый парень, что старшина не мог оказать ни малейшего сопротивления. Другой рукой безрассудный ефрейтор повернул телеручку обратно вправо на ленинградский канал. И заявил: «Надоело этого мудака слушать. Все пиздит и пиздит. Лучше пускай Шостакович хуярит». (Я, присутствовавший при этом, даже не сообразил, как в Мишкиной голове отложилась фамилия великого композитора.)

История эта не имела ни малейших последствий. Старшина более всего боялся рассказывать о происшедшем начальству воинской части.

1988

УГРОЗА И МЕЧТА

В армии моим лучшим приятелем был ефрейтор Миша Гончарников. Он постоянно спрашивал меня: «Эй, доцент! Ты случаем не кандидат наук?» — «Да что ты, Миша, — отвечал я ему, — я ведь до службы только успел институт закончить». Но Миша время от времени упорно повторял свой вопрос. Было очень забавно. Дело в том, что Миша был почти неграмотный. Он вроде даже школу толком не успел закончить, не говоря уж о ПТУ или каком-нибудь техникуме. При этом всех ребят из роты, успешных закончить десятилетку, он называл одной кличкой — «студент». Мне же, как закончившему вуз, довелось прямиком в «доценты».

Так вот, Миша, будучи не в курсе, что ученое звание «доцент» не может иметь место помимо ученой степени «кандидат наук», упорно продвигал меня по научной лестнице, спрашивал про защиту, а однажды пригрозил: «Смотри у меня, доцент. Чтобы после службы сразу же накатали кандидатскую диссертацию. А не то приеду в Питер и замочу тебя!» — «За что, Миш?» — «А за то, что из-за тебя, падлы, мне в своей деревне некому сказать, что у меня в Ленинграде есть знакомый кандидат наук».

1982

САМОКРИТИЧНО

Мой армейский приятель ефрейтор Миша Гончарников был здоровенным парнем с золотыми руками. Очень добродушным. Миша был родом из Нижегородской области, где еще совсем пацаном помогал взрослым в колхозе. Работал в поле, ухаживал за скотиной, столярничал. Руками Миша умел делать буквально все. И в стройбате служил и работал Миша очень хорошо. Но за два года службы дослужился только до ефрейтора, потому что постоянно попадался на пьянке. Мишку регулярно представляли к младшему сержанту, и так же регулярно не давали вторую лычку, так как ефрейтор Гончарников вечно нарушал основную солдатскую заповедь, применимую к нашей армии в целом, не только к стройбатам: «Ходи в самоволки и подавай, сколько хочешь. Только не попадайся». Мишка регулярно попадался. А еще у него были проблемы с грамотой. Читал Миша с трудом по слогам, а написать письмо родным в Нижегородчину было для него сущей мукой. Обычно он просил об этом меня. Было неохота, но иметь такого здоровенного друга в стройбате было совсем не лишним. Я делал вид, что такая работа мне в радость, и соглашался.

Как-то я сидел в казарме на табурете, облокотившись на койку, и подремывал. Миша растолкал меня, и попросил не слишком деликатно: «Эй, доцент! Давай курить!» Я протянул Мишке «Приму».

— Слушай, — спросил Миша, — ты куда после дембеля собираешься идти работать?

— Или к себе в Библиотечный институт вернусь, или на завод.

— Зачем еще на завод?

— Там платят побольше.

— Ну и мудака же ты!

— Почему?

— Потому, что в библиотеке можно разные толстые книги читать. А на заводе станешь неучем. Вроде меня.

1982

ГРУБАЯ ОШИБКА В ПРАВОПИСАНИИ

Воинскую службу я начинал в стройбате, а заканчивал в военно-инженерной части. Замполит в/ч как-то посадил меня за пишущую машинку и начал диктовать очередной доклад по поводу очередного коммунистического мероприятия (дело-то было при Сов. власти!). Я напечатал продиктованное. Замполит взял отпечатанный текст, прочитал про себя, шевеля губами, и вперился в меня взглядом. Весьма свирепым. И произнес гневноторжественно: «Объявляю тебе трое суток ареста с содержанием на гауптвахте!» Я вытянулся по стойке «Смирно!» и, как положено по Уставу, сказал: «Есть трое суток!» Тут же, не выдержав, вопреки Уставу, спросил: «За что?!» — «А вот за что, — удовлетворил мое недоуменное любопытство замполит, — в фамилии столь всемирно-выдающегося политического деятеля, как Леонид Ильич Брежнев, переносы не допускаются». И показал мне текст. Там, действительно, было на одной строчке «Бреж-», а на следующей — «нев». Просто места не хватило.

Недавно я встретил своего бывшего замполита. Сейчас он коммерческий директор какого-то совместного предприятия.

1989

ОБЪЕКТИВНЫЙ КАПИТАН

«Я вам говорю, суки, — орал мой старшина перед строем, — что Израиль хочет захватить всю Арабию (старшина смешал Саудовскую Аравию и арабов), но аравы (опять спугал!) их сызначала (от возбуждения и ненависти к Израилю оговорился) били и бить будут! Мне не верите — спросите у капитана». Старшина вышел из Ленинской комнаты, куда вошел капитан из Управления военно-строительными частями. Его прислали к нам провести политинформацию. Нас предупредили, что капитан был нашим военным консультантом понятно на чьей стороне во время арабо-израильских войн 1967 и 1973 годов. Позже мне стало ясно, почему капитан за столь длительный отрезок времени так и не дослужился до майора. А когда капитан вошел, мы подумали: отлично. Хоть увидим живьем человека, побывавшего на войне. Что-нибудь интересное расскажет. И капитан рассказал. Он поведал, в частности: «Я, ребята, вам так скажу. Если честно, израильтяне (не решился произнести слово «евреи») умеют воевать. А египтяне... (призадумался, выискивая выражение помягче) проявили себя не с лучшей стороны».

Военные строители раскрыли рты. Шел 1980-й год.

ПЕРЕВОСПИТАННЫЙ ПОЛКОВНИК

Однажды, когда я служил в стройбате, к нам в казарму приехал полковник из Управления военно-строительными частями с поставленной задачей: провести политинформацию среди рядового и сержантского состава. Провести политинформацию можно было попросить и кого-нибудь из сержантов, но если бы старшина попросил, то получил бы в ответ: «А пошел ты со своей политинформацией...» Военные строители не очень-то любили рассуждать о хитросплетениях мировой политики. Лишь мне иногда не удавалось послать старшину или отбояриться иным образом. То есть приходилось покритиковать Пентагон и похвалить Фиделя Кастро. Но как только я заканчивал молоть внешне-внутриполитический вздор, то слышал от ребят: «Политинформатор ты гнутый». Публичные выступления в стройбате не почитались и воспринимались как прогибание перед начальством. Так что хорошо, что пригласили полковника.

Он, кстати, оказался мужиком ничего, не таким занудой, как другие офицеры из Управления, и своим низким голосом сумел отвлечь аудиторию на полтора часика от подкидного дурака и портвейна «777». На целых полтора часа!!! Все получилось сносно и к тому же забавно: потому что полковник имел привычку повторять фразу: «Извините за выражение». Повторять к месту и не к месту. Звучало это примерно так: «Эти, извините за выражение, израильские сионисты при поддержке, извините за выражение, американских империалистов пытаются задушить свободолюбивые арабские народы. А борьбу против этих козней ведет все прогрессивное человечество во главе с, извините за выражение, ЦК КПСС».

1982

ОГОВОРИЛСЯ

Это случилось во время перестройки. Питерские демократы собрали очередной митинг. На Дворцовой площади. Соорудили трибуну. Стали произносить речи. Выступал очередной демократ. На Дворцовой площади громыхало:

— Освободим Россию от коммунистического рабства! Даешь многопартийность! Даешь немедленную департизацию всех заводов, производственных предприятий, фабрик, вузов, НИИ и КБ, воинских частей! Да здравствует свобода печати!.. — и:

— Да здравствует КПСС — главная надежда демократического развития Российского государства!

Дворцовая площадь содрогнулась от хохота.

1988

ГУРМАН, ИЛИ ИЗЫСКАННЫЙ ВКУС

В вагоне-ресторане поезда «Аврора» сидят бабушка и внук. Бабушка предлагает мальчику изучить меню, спрашивая на ходу:

- Бульон будешь?
- Нет.
- Антрекот?
- Не-а.
- Может быть, яичницу?
- В поезде? Еще не хватало. Яйца можно дома жарить.
- Ну а бифштекс?
- Ни в коем случае.
- Осталась только солянка. Как?
- Что-о-о? Солянку? Ты же знаешь, что я ее ненавижу. Ненавижу, не переносу, не люблю!

Сидевший за соседним столиком мужчина, не выдержав, спросил:

- Так что же, все-таки, ты любишь?
- Воду.

1996

СТАТУС-КВО

Я зашел в кафе и заказал булочку и чай. Стоявшая за стойкой девушка предупредила:

- Булочки с маком вчерашние.
- Тогда не надо.
- А что вы волнуетесь? Сейчас я ее суну в микроволновку, и она станет как сегодняшняя.

1997

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

У моего приятеля Сергея есть сын Виталик. Совсем еще маленький. Белобрысый крепыш. Виталик только начал говорить.

Как-то Сергей с Виталиком зашли ко мне в гости. Причем папа держал сына на руках. Виталик задумчиво рассмотрел мою румянощековую физиономию, обрамленную густыми черными бакенбардами, и осторожно, но внятно произнес: «Обезьяна». Я расхохотался и протянул мальчишке конфетку. Виталик еще полсекунды поразмышлял и объявил: «Добрая обезьяна».

1994

ДОПРИЧИТАЛСЯ

Подражание А. Чехову

У меня был приятель. Сорокалетний мужчина в соку. Большой меломан. Не пропускал в Филармонии ни одного стоящего концерта. Как-то раз и я зашел в Большой зал петербургской Филармонии. По случайному совпадению, билет взял на соседнее кресло рядом с тем приятелем. Давали Брамса, Равеля, Листа. Фамилию дирижера не помню. Помню, что он был очень стар. Концерт вел здорово, но был настолько худ, сед, морщинист, что со спины, когда он взмахивал руками, казалось, вот-вот упадет. Мой приятель одновременно восхищался музыкой и переживал. С каждым движением дирижерской палочки он шептал про себя слова восхищения и тревоги: «Здорово! Ой, свалится!» или: «Блеск! Не-е-е... Не доживет до финала!»

Тем не менее режиссер дожил. Поблагодарил первую скрипку, спокойно выслушал овацию и, покачиваясь, но вполне бодро и с достоинством, удалился.

Была середина лета. Жара страшная. Мы с приятелем вытерли лбы. Еще лениво похлопали. Дохлопали, встали с кресел, вышли на угол Михайловской и Итальянской. Ехать домой было в одну сторону, и мы взяли такси. В машине мой приятель назвал шоферу адрес, куда ехать, произнес: «Молодец все-таки старик! Было неподражаемо!» — схватился за сердце и помер.

1997

Алексей Кирдянов

ЯНВАРСКОЕ РАНДЕВУ

Стилизованный дневник¹

Литература?.. — Это шум времени.
Из письма

* * *

Получаю в декабре телеграмму на имя А. Кирдянова с приблизительно таким текстом: «Совещание молодых писателей в Ярославле переносится на 17 — 19 января 1996 г. Обратитесь к местной администрации с просьбой оплатить дорогу. Результат телеграфируйте». Далее — адрес, подписи, в т. ч. Б. Темных. Политические игры, решил я. Ельцин начинает предвыборную кампанию. И забыл об этом.

* * *

На Рождество приходит зак/бандероль, в которой: книга Бориса Темных с подписью: «Алексею Кирдянову от очарованного Россией» и номер газеты «Очарованный Россией» с материалами по подготовке Всероссийского совещания молодых писателей: отчеты, письма, резолюции, жалобы друг на друга членов оргкомитета.

Книга «Зимние хлеба» Б. Темных профессиональна, но сентиментальна, начал читать...

В общем, через какое-то время дама из СП позвонила в журнал «Петербург» и сообщила, что нужно ехать такого-то через Москву. Конечно же, напутала с датой. И я приехал в Москву на день раньше. Этот денечек мне стоил целых 30 тыс. руб! — еда, проезд по городу и т. д.

* * *

В Москве мне понравилась сталинская многоэтажка, сразу при выходе из метро «Баррикадная»: кайф, сумасшествие, словно пирамида египетская!

Поварская, 52. Москва.

¹ Фамилии и события вымышлены, совпадения случайны.
Журнальный вариант.

Время 12 утра. Во двореке СП людишки. Захожу, становлюсь около скверика (что посередине двора), но ближе к воротам. Люди незнакомые, потрепанные, молодых — никого.

О чем-то говорили с Рустиной и еще с одной дамой. Обе — около тридцати, тихие. Гусевич приехал с лыжами, смотрелся здорово. Вот, думаю, — единственный нормальный, здоровый человек! Они все втроем — питерские.

* * *

Вбегает во дворик, как смерч, Дима Кузин, издатель «Вечного поиска», журнала для «голубых», бегает от всех ко всем. Одет ничего: короткая дубленочка, джинсы в обтяжку и т. п., сам без шапки, черные волосы (запущенное каре), челка спадает на очки. Со всеми треплется. Меня не видит, не узнает. Я его соответственно тоже «не вижу».

* * *

Посадка в автобусы — ноу организейшн. Ломились, боялись, что мест всем не хватит. В первый автобус не втиснулся. Во второй — втиснулся почти сразу. Место рядом с собой занял. Кузин энд пара мнимомолодых молодцев метались у автобуса, но не втиснулись. Телевидение влезло со всеми своими потрохами: камерами, коробками, банками.

* * *

Впереди (около передней двери) вдруг заметил великого (ростом) Никонова, питерского поэта — в красном пуховике, выглядит богатеньким. Вот еще кого не хватало! — думаю. Лишь бы не столкнуться!

Наконец, поехали.

* * *

Передавали сводки о заложниках в Чечне (у телевизионщиков какая-то аппаратура все время пиздела).

У меня настроение никакое, я погиб, только и думаю. Есть хочу, спать хочу, куда, думаю, еду. «Просоветская профанация», «Пир во время чумы-Чечни», как бы заголовки для моих будущих заметок в голове мелькают.

Ехали очень долго почему-то. Несколько раз останавливались поссать, покурить.

* * *

После того как приехали, наконец, в пансионат «Ярославль», недалеко от Карабиhi, нам сразу же, с ходу, предложили расселяться. Все столпились в вестибюле и не знают — как и что

делать. Некто у стойки администратора выкрикивал: «Сейчас пойдут двухместные номера, а потом — четырехместные. Сначала получают ключи руководители семинаров». А черт-те знает, кто они — руководители, и тем более, когда они кончатся (руководители). Поэтому народ стал хватать ключи. Кузин опять же быстро всюду бегал, точно у него моторчик в самом интересном месте вставлен, и на каждую неожиданность выдыхал: «Ух, ты!»

Надо что-то предпринимать, думаю. Иначе — пойдут четырехместные номера.

Представь, — мысленно говорю себе, — целых три человека в номере! Ужас! Я умру от них. Так хочется тишины и одиночества — полнейшего! — лечь на кровать и спать, спать, спать...

И тогда я решил пробиться сквозь толпу к стойке. Надо хватать ключ, и называть вместе со своей еще любую выдуманную фамилию, а потом разберутся, кого-нибудь подселят, если что. И тут вдруг раздается слева, откуда-то из-под меня, голос: «А что делать, если я один приехал?» — «Откуда?» — отвечает распределяющий номера человек. «Из Курска», — но распределяющий уже не слышит, забыл и свой вопрос, с кем-то другим болтает. Я смотрю на этого, из Курска, — вроде ничего мужик, около шестидесяти, небольшого роста, с бородкой аккуратной, похож на крестьянина. Думаю: ничего, не вор, самое главное. И не наглый, и не алкаш хоть! Говорю: «Давайте вместе возьмем номер». Он на меня тоже быстро посмотрел, оценивающе, — «Давай», говорит. Я тогда называю свою фамилию и он свою фамилию: «Медведьев».

Нам дали ключ от номера 58, на третьем (кажется) этаже. Мы с ним пошли в номер. Номер обычный, типовой (приходилось часто жить в таких номерах в командировках, когда в армии еще служил), с душем, совмещенным с туалетом и умывальником. Достаточно чисто. Я сразу глянул на постель — ух ты, думаю, мягкая и ровная (после полугодового спанья на раскладушке)!

Как-то быстро вещи разложили, я с себя снял один свитер. Вообще я был одет в два свитера: зеленый и черно-бело-зеленый, в синие брюки вельветовые (приличные), снизу теплое белье офицерское, сверху — куртка моя черная «Монтана», которую еще в Погаре Брянской области покупал, и что плохо — туфли осенние «Ленвест», холодные, и вязаная мнимошерстяная шапочка, шарфик офицерский...

* * *

Есть хочется ужасно. И мы пошли вниз, в вестибюль. Познакомились. Его зовут Леонид, прозаик, сатирик. Внизу толпы голодных писателей шарахаются, постепенно стягиваются к столовой, к которой надо идти по умудренно проложенным коридорам, поднимаясь на второй этаж (приблизительно как в фильме «Старые стены» Гурченко поднимается куда-то там: тоже снимали в типовом пансионате?). Так вот иду я (Леня где-то затерялся, узнавать что-то пошел?), поднялся по лестнице, а перед входом в

обеденный зал на лестничной клетке расположен живой уголок, очень милый и ухоженный: аквариумы с черепахами водяными, с лягушками тропическими (тоже водяными), очень милыми тритонами (все время неподвижны), рыбками аквариумными, зелень в горшках, а перед самыми дверями в обеденный зал — две очень большие клетки с волнистыми попугайчиками, и вот около той, которая слева по ходу, стоят два пожилых писателя, — назовем их здесь *Пуповым* и *Петровым*, — так вот, Пупов и Петров стоят и, смотря на попугайчиков, перекидываются репликами типа: «...Вот какой желтый.. а этот, — говорит Пупов, — смотри, белый, но с голубизной».

«Ха-ха, — весело вторит Петров, — голубой!»

Пупов: «С тенденцией к голубизне!»

Петров: «Опасная тенденция!.. Ха-ха!»

И вот на слове «голубой» как раз я вступил на площадку. Я внутренне очень смутился, но все же зажал себя и говорю себе: тише, тише, смотри на тритончиков — видишь, как они спокойны!

* * *

Нас стали кормить ужином (в семь часов вечера). Он нам страшно не понравился. Ужас! Неужели здесь будут так вот кормить все дни?! — макароны с вареной колбасой, без подливки. Как-то без уважения.

* * *

После быстрого и голодного ужина вернулись в номер (ужинал я с Леней Медведьевым), Леня прихватил с собой кусок хлеба. В общем, немного я успокоился, хочу очень спать. Стали знакомиться с Леней поближе: он рассказал про себя, что служил в армии офицером, технарь, а теперь вот работает в каком-то НИИ в Курске, часто бывает в командировках, в том числе в Москве и в Ленинграде. Стал писать, как только ушел на пенсию. Пишет, в основном, юмористические рассказы и стихи. Печатался в «Крокодиле», в «Правде», в «Окрошке» и т. д. Ему около шестидесяти лет. Милый, тихий, застенчивый, тактичный.

Я ему тоже про себя кое-что порассказал, что я был военным, служил-де там и там и так далее.

Тогда он вытащил бугылку водки и немного закуски — сало, черный хлеб, одно яйцо.

Я говорю: «Леня, я не пью. Ты уж лучше побереги для кого-нибудь нужного человека — ну там, для редактора или издателя... А мне-то зачем?»

А он говорит в ответ: «Так я все равно не могу устраивать публикации... по-хитрому. А понемногу выпьем за знакомство».

Я согласился. Выпили. Он вытащил свои подборки. Говорит: «Читай мои, а мне давай свои».

Я немного подумал... и дал ему всю папку.

* * *

Я стал читать, но голову мою повело: ничего не соображаю, хотя чувствую, что юмористические рассказы не очень-то и смешны. В общем, я сколько-то рассказов осилил, и стихи. Стихи — веселее, живее. А некоторые мне даже понравились — о Еве, об «Органе» и «органе». Я похвалил эти стихи, предложил показать в альманах «Ugbi». Он согласился.

Потом я решил, пользуясь случаем, помыться в душе. И вымылся горячей водой, немного отогрелся после дороги. Лег спать, а Леня решил читать мои стихи, лампу настольную зажег. Он прочитал и стал ворочаться. Долго ворочался.

Я плюнул на все это и уснул. Спал очень хорошо — без снов, крепко.

Утром встали, умылись. Он сказал, что очень хорошие стихи у меня.

Пошли завтракать.

* * *

Начало работы по семинарам назначено в 11, что ли? Я пошел к стенду, на котором висели списки, кто в каком семинаре. Посмотрел, меня там нет нигде. Ну, думаю, и ладно. Буду спать в номере, и все тут. Тем более, что толку все равно никакого от этого нет. Но потом думаю: а все же надо где-то отметить — вдруг потом не оплатят командировочных, мол, не работал нигде — и все тут!

И пошел я, и пошел... в семинар к Чуконцеву (журн. «Новый Рим»).

* * *

Захожу в комнату 29 (там жил Константин Никонов с кем-то), все уже сидят тесным кругом: кто на кроватях, кто на стульях.

Никонов сидит во главе стола спиной к окну. В углу (справа от окна) сидит (как оказалось) М. Борщенская (московский журн. «Новый Рим»).

Чуконцев не приехал.

Как раз начинают знакомиться. Я сел по правую сторону от Марины Борщенской, на кровать.

В семинар записалось четырнадцать человек, кто-то приходил, кто-то уходил. В конечном итоге, «все разбрелись по своим». Но это — после.

Я назвал свой псевдоним, рассказал о себе. По-моему, я представлялся первым (решили — от Борщенской против часовой стрелки), затем все тоже представились и рассказали о себе.

Там были: Олег Кубанов (Кострома) — малосимпатичный молодой человек в очках, нытик; нигде не работает, организовывал

какой-то фестиваль поэтов в прошлом (?) году, приглашал 150 (!) поэтов, в т. ч. Кушнера, который не приехал, затратил 70 тыс. (?) долларов (лучше б себе забрал, или журнал какой издал!). Все плакал, что жить в Костроме — невозможно. (Интересно — а где возможно?) Больше, конечно, поза эдакая, игра в «дитё лейтенанта Шмидта».

Затем его дружок, «лауреат» этого фестиваля — Дима Шишинков, тоже Кострома. Работает на стройке. Внешне — обыкновенный. В темных очках, лицо русское, волосы русые. Молчаливый.

Затем — кто-то еще, еще, еще, в том числе — Сергей Прохоров (Питер, член патриотического СП), потом И. Туда (Питер), Вероника Рустина, Александр Гусевич, тот, который с лыжами, из Питера; затем — Виктор Лобухов, новорусский поэт, связанный с «Гранями» и «Русской мыслью»...

Из Москвы пара человек, в том числе — Наташа Михайлова (прослушал, что она о себе говорила).

Когда все представились, решали, какой будет порядок семинара. Решали в основном — Никонов, Борщевская и я, остальным было все равно, они молчали.

Сказали, что Чуконцев приедет на следующий день.

* * *

Семинар стал вести Константин Никонов, у него это здорово получалось, он стал говорить, что опыт работы в школе ему пригодился.

В общем, решили, что все сначала прочитают по два-три своих стихотворения, чтобы иметь представление, кто есть кто.

Я читал стихи: «Ночное солнце», «Жена», «Сон».

Об остальных ничего не скажу, так как я ничего не понял на слух.

Потом решили обсуждать: кого-то обсуждали, но об этом я не хочу писать, да и не помню.

О себе: я занял очень активную позицию на семинаре, стал выступать самым первым и очень жестко ругать практически всех.

В общем, я играл: выходил демонстративно из комнаты или листал рукописи, смотрел в сторону, когда кто-нибудь читал, кто не нравился, и т. д., но в то же время я и хвалил, например, немного Наташу Михайлову, Д. Шишинкова (в целом), В. Лобухова назвал «гением, которого надо беречь», защищал его от Прохорова и прочих.

Не помню точно, кого когда разбирали. Но хорошие поэты, на мой взгляд, были: Д. Шишинков, В. Лобухов, Н. Михайлова, В. Рустина. Более-менее ничего: С. Прохоров, Туда.

Кубанов — отвратителен. Об остальных и говорить нечего. В общем всё — о работе семинара.

* * *

В первый день отработали до обеда, после обеда снова собрались работать. В первый день «открыли» Шишинкова (общими усилиями).

* * *

Где-то в районе 16-ти часов было торжественное собрание по открытию Совещания молодых писателей. Все толпились в коридорах, вестибюлях, несколько устали от болтовни и стихов. Я подошел и у кого-то стрельнул сигарету, ко мне подошла дамочка лет тридцати пяти, миловидная, сухонькая, поболтали, нигде не работает, приехала из какого-то города русской провинции. С дочерью, которую привезла нелегально. Имени я у нее так и не спросил и после, хотя несколько раз останавливались и болтали в коридорах, и даже «принимали пищу» (армейский лексикон) за одним столом. Дочка ее очень даже ничего, симпатичная, лет шестнадцати.

* * *

Собрание проходило в актовом зале. Сцена, затянутая желтой материей. Наверху — на занавеси — портрет Пушкина. Стол для президиума длинный, покрытый желтым сукном. Много микрофонов (которые, как выяснилось потом, плохо работали). Телевидение бегаёт по залу (два оператора, осветители).

Некто начал, пригласил за стол известных стариков. Человек десять, я никого не знаю — но фамилии Евгений Попов, Петр Валерьев, Борис Темных (в темном — траур по собственной фамилии?), возможно, — Распутин.

Кто-то что-то говорил и сказал кроме прочего: «Здесь, в Ярославле, родился и жил Николай Алексеевич Некрасов».

Следующий выступающий сказал что-то вроде: «...здесь не только Некрасов родился и жил, но здесь ведь родился и замечательный русский поэт — Михаил Кузмин! И надо об этом сказать!» — и при словах «Михаил Кузмин» его голос сорвался в фальцет, прозвучал звонко, и обозначение ярославского гомика были воспринято залом чуть ли не как манифест. Зал зааплодировал.

Камера стрекотала...

Потом кто-то еще говорил...

Говорил Евгений Попов (развязно и по-хамски о том, что «надо обложить всю официально разрешенную порнуху налогом, и мы тогда все здорово *проживем*¹»), кто-то еще, кто-то от Лисицына (глава администрации области), кто-то от Министерства культуры (о том, что «надо объединиться и работать над законами»)...

¹ Выделено мною.

Кто-то (из яросл. русофилов) стал демонстративно кланяться этому представителю Министерства культуры: мол, спасибо за «матпомощь в размере 100 тысяч в месяц», которую он тратит якобы на издание некоего молитвенника (на макулатуру!); стал кланяться, желая стать знаменитым — как человек, борющийся с номенклатурой, думая, что телевидение запишет и покажет его на всю страну, как во времена парламент-шоу.

Но рамки «гласности» устанавливала по своему усмотрению режиссер телевидения — дама лет сорока с лишним, деловая и решительная. Она сидела неподалеку от меня — через проход — и то и дело подавала команды оператору: «Это снимите! А это не снимайте!» В момент ярославского деятеля, подмигнув мне в очередной раз, сказала: «Не надо, не снимайте!»

Тем временем «групповуха» на сцене приняла непристойные формы (раскланивание с причитаниями), и я, почувствовав, что меня сейчас стошнит, вышел из зала и ушел в свой номер.

* * *

Через некоторое время в номер пришел Леня Медведьев и сказал, что ужин — с «приложением». И скорей всего, «приложение» — только для знаменитого старья, для избранных. И что «ставит» Министерство культуры.

Оказалось, что нет — демократия есть демократия. На каждый стол было выставлено по 1 бутылке шампанского и по 1 бутылке водки (маленькая).

Я не долго думал, к кому бы припасть: увидев за дальним столиком «нового Есенина» — Диму Шишинкова с его другом, не отходящим от него ни на шаг (словно вампир!), Олегом Кубановым (они сидели вдвоем за четырехместным столиком), подошел и спросил: можно ли к ним? Они сказали, что можно, хотя вроде кого-то ждали. Но эти «кто-то» не пришли, и мы начали выпивать с Димой Шишинковым, причем начали с водки. Сути разговора не помню — все сумбурно, да, собственно, «новый гений» не оказался способным вести какие-либо разговоры более или менее последовательные.

Я предложил ему опубликоваться в альманахе «Urbi», но предупредил, что гонорар не выплачивается, а лишь — номерами журнала. Услышав, что мы с Димой уже о чем-то договорились, его приятель стал (явно ревнуя и обижаясь на невнимание к собственной персоне) вступать в разговор, говоря: «Я его менеджер! Я его секретарь! Все разговоры надо вести только через меня!»

На что я жестковато ответил: «А с менеджерами я вообще никогда не разговариваю! Я говорю только с авторами!»

Я был высокомерен. Этот угомонился.

А Дима Шишинков, конечно, артист. Необычайно избалован вниманием. Вот они и думали, что их тут будут «снимать налево и направо», что без «менеджера» никак не обойтись.

Кроме того, «менеджер» вдруг говорит: «Он, Шишинков, когда напьется — буйный». (А Шишинков мне шепчет: «Да не слушай ты его — все он врет! Я совсем не буйный».) А Кубанов не понимает: «И еще он — голубой».

Я говорю: «Ну и что, все поэты — голубые, так или иначе. Только скрывают».

Он говорит: «А я вот — розовый!»

Я сказал: «Фи, розовые — очень плохие поэты!»

Тут как раз подходит к нашему столику Дима Кузин и говорит мне: «О, какие люди! Вы уже теперь — в Петербурге», — глядя на мою карточку на груди. Я говорю: «Да. Я такая звезда... перелетная». Он говорит, улыбаясь: «Я очень люблю перелетных звезд», — кокетничая. Потом говорит этим двум и мне: «Приходите вечером в номер 78 или в номер ... читать стихи — собирается тусовка». Я предлагаю ему выпить с нами, он отказывается, ссылаясь на то, что совсем не пьет. Он еще раз нас пригласил и ушел... А мы тем временем почти приговорили водку. Д. Шишинков увидел девушку за соседним столиком, которая активно кокетничала во всеми подряд, и стал косить глазом на соседний стол. Девушка стала просить у нас шампанское. А я говорю в ответ: «Только бартер: мы вам — шампанское, а вы нам — водку» (эти парни, что были с ней, оказались непьющими, лишь чуть-чуть глотнули для храбрости). Водка почти нетронутая у них на столе. Согласились, причем она сказала, что очень мало пьет, и предложила нам вместе с ней выпить шампанского (вот тут-то мы с Димой Ш. и начали смешивать, а этот, менеджер, вообще, по-моему, не пил, а только ел): мы выпили за знакомство с тем столом (только с девушкой). Короче, пили шампанское, пока все не выпили. Затем опять водку.

Откуда-то появился Никонов. Мы стали пить с ним. Потом в нашем районе зала появился оператор (тоже пьяный, все уже гудели всюю), снимал какого-то идиота в черных очках, который орал песню. Я стал звать оператора к нам, чтобы он снял «нового Есенина», он пришел и увел Шишинкова снимать в угол, где тот стал что-то читать. А потом стал Д. Ш. клеиться к девушке. Таким образом наша компания почти распалась, хотя Дима Ш. приходил подпить, и в один из таких его приходов оказалось, что пить больше нечего. И тогда провился Никонов. Он стал говорить, что сейчас купит бутылку, только сходите кто-нибудь. Все его стали отговаривать, мол, и так всем хватит уже, и небось дорого стоит. А он говорит: «Я богатый человек! У меня свое издательство. 30 — 50 тыщ для меня не деньги!» Тогда «менеджер» решил сходить к официанткам. А я ему вслед: «Давай, давай, покажи свои менеджерские способности!»

Никонов все хвалил Шишинкова, говорил, мол, сядь, поболтаем. А тот все бегал — артист! — от столика к столику, чем вконец замотал и меня и Никонова. Приперся Кубанов и ноюще сказал, что ему не продали. Тогда Никонов решил сходить сам. И купил 1 бутылку водки (средненькую). Но, правда, пить ее было уже не с кем: Д. Шишинков «пропал в столиках». Тогда мы

втроем — я, Никонов, Кубанов отправились за стол, где сидело «знаменитое старье»¹: они сдвинули много столиков вместе, получился один длинный стол. О чем шел разговор — не помню, скорее всего ни о чем. (То есть, разговор коснулся вопроса: может ли талантливый поэт быть плохим человеком? Представитель старшего поколения, прозаик Петров, утверждал, что не может. Никонов (среднее поколение) пытался убедить Петрова в обратном. Я поддерживал скорее Петрова, и, в конце концов, мы сошлись во мнении, что теоретически такая ситуация возможна, а вот практически — нет.)

Пили откуда-то взявшееся красное вино. Затем пить стало нечего, и все начали понемногу расходиться. Никонов занял бутылку водки и пригласил нас, меня и Кубанова, к себе в комнату допивать. Мы встали и пошли. По дороге нашелся Д. Шишинков и последовал за нами.

В номере Никонов поставил на стол водку. Вроде сели, но вдруг Д. Шишинков вскочил и сказал, что сейчас придет, что там какая-то девочка его позвала к себе, и вышел из номера. Г-н Никонов стал нервничать, что никак молодежь не уgomонится. Я вызвался вернуть разгулявшегося гения и вышел в коридор, но Шишинкова и след простыл. Я вернулся в номер. Там я застал след картину: стоит великий (ростом) Никонов, сидит маленький и щуплый Кубанов, ходит Степан Жнебов (как выяснилось) — московский поэт-конструктивист. Жнебов — эдакий мужик-крестьянин, хам и невоспитанный, с железными фиксами на зубах, говорит исключительно матом, одет — как пролетарий всех стран: заношенные советские джинсы, синий — тоже заношенный — домотканый шерстяной свитер с высоким воротом, грязные зимние сапоги, стрижка короткая.

Так вот. О. Кубанов стал перед Жнебовым унижаться: мол, я вас так люблю, тов. Жнебов! Ваши стихи!.. Там... я... в Костроме... И так далее. На что Жнебов очень по-хамски стал орать на Кубанова: «Да какое мне дело, да плевать я хотел на тебя, сиди в своей Костроме... Пошел на хуй!» — и так далее. (Играет, якобы он — знаменитость, а сам — некультурный.) Бедный мальчик аж осел чуть ли не на пол от ужаса и унижения! Заплакал. Жнебов вышел из номера, а мы с Никоновым стали успокаивать Кубанова и вытирать ему ручьи слез. Я ему говорю: да кто такой этот Жнебов? — у него нет ни одной приличной строчки. Дутая знаменитость! Успокойся, плюнь ты на него. И вообще ни перед кем не надо унижаться, ты же — поэт! А тот рыдает: «Я так его любил!...»

Потом мне это надоело, и я оставил Кубанова с Никоновым вдвоем в номере, а сам пошел искать комнату 78, где предполагалась кузинская тусовка.

¹ По выражению Л. Медведьева.

* * *

<В связи с некоторыми (послеярославскими — питерскими) обстоятельствами моя работа над этой хроникой прервалась, и вот сейчас, приступая к дальнейшему, боюсь, что какие-то подробности уже и не вспомню (ведь уже конец марта на дворе!), и все-таки — с Богом! В добрый час!>

* * *

Я все же опьянел и поэтому как-то долго искал номер, в который приглашал Кузин (цифры в голове поперепутались). Я стал искать на авось: открываю номер, смотрю — нет, не этот! И т. д., «методом тыка». И вот когда я в очередной раз воткнулся в какой-то номер, оттуда выскакивает девчонка и сует мне в руки сборник стихов какой-то девчонки (я подумал, что свой, оказалось — ее подруги¹, которая не приехала на Совещание), тут же в коридоре появился «Рустам», как он представился, с какого-то радио и говорит: «Там внизу — дискотека». Девчонка (пьяная, а может быть, и обкурившаяся) хватает меня под руку и говорит: «Пойдем танцевать». Я говорю: «Пойдем!» И мы быстро спускаемся на первый этаж в какой-то холл (под столовой), где гремит музыка, проскакиваем ураганом мимо контроля, не платя ни копейки (вход стоил денег, а их-то и нет!), и оказываемся в полумраке, нарушаемом резкими красно-голубыми вспышками прожекторов. Музыка весьма решительная. В этом полумраке (лиц почти не различить) всего человек пять-шесть, в том числе весьма пьяный мальчик с телевидения, кривляющийся перед зеркалом сам с собой (рэповские движения). С девушкой начинаем как-то по-скотски скакать (пьяные!) друг перед другом, держась за руки и то прижимаясь грудью друг к другу, то отталкиваясь. Вдруг рядом опять появляется Рустам и делает кружок «на троих», норовя меня отеснить, я тогда придвигаюсь к нему вплотную и говорю: «Отчаль, эта — моя девушка. Уйди, не мешай!» Он говорит: «А пусть она сама выберет». *Эта* слышит. Как бы кривляемся на равных. Она — раз — и на плечи к этому негодяю, пирату! Я тогда не долго думая — к выходу. Вдруг кто-то хватает меня за руку, левую... Смотрю: молодой парнишка с волосами по плечи (лица не видно), говорит: «Подожди, не уходи, давай потанцуем». Я говорю: «Отстань, не хочу я танцевать, мне девушка изменила, пришла со мной, а танцует с другим, я в печали, отстань!» Он говорит (руку не отпускает — влюбился, что ли?): «Ну и что, давай потанцуем!» Я говорю: «Нет, я не могу, мне надо идти... мне надо идти в 78-й номер!» (неожиданно вспомнил номер комнаты!) «А ты придешь?» — спрашивает. «Да, приду... Я быстро, я обещал...» — и уйду.

¹ Альбины Зиневой из Воронежа — это я выяснил значительно позже — по дороге в Москву.

* * *

В номере 78 несколько человек: Кузин, два молодых человека, Д. Шишинков с «менеджером», еще кто-то. Кузин о чем-то спорит с кем-то (о литературе) чуть ли не до крика, он сидит на кровати, я вхожу и сажусь рядом с ним. Вдруг в номер врываются *эта* подружка с Рустамом, садятся на пол, что-то начинают рассказывать.

...Появляется в комнате молодой человек, симпатичный, лет двадцати, с длинными темными волосами по плечи (милый такой), и говорит всем: «Пойдемте танцевать». А, это ты, думаю, тот, который в танцзале ко мне приставал. Ему все: «Иди в другую комнату, здесь люди стихи читать собрались, и вообще — поэты не танцуют!» Тогда он, уже только на меня глядя, говорит: «Пойдем танцевать». А сам несчастный такой, пьяненький. Я подошел к нему и тихо так говорю: «Ты кто такой?» Он говорит: «Я всех приглашаю танцевать, а никто не хочет. Пойдем с тобой потанцуем». Я говорю: «Я сейчас приду, какой ты хороший, — шепчу, — дай я тебя поцелую, — (он согласен: кивает) и целую его в правую щеку. — Тебя как зовут?» — «Саша», — (что ли?) ответил он. Я: «Можно, я тебя еще раз поцелую?» — а он губы подставляет, и легко целую его в губы. «А ты точно придешь?» — спрашивает. «Да», — говорю. Он уходит.

* * *

Рустам предлагает почитать стихи и выходит за микрофоном. Потом Рустам (достаточно быстро) возвращается и говорит: «Там этот, длинноволосый, лицо разбил», — (или разбился?). Я не обратил на эти слова никакого внимания — ничего особо не понял. Продолжаю сидеть рядом с Кузиным. Кто-то что-то стал читать, в том числе Д. Шишинков. Когда Д. Ш. кончил, Кузин, хвастаясь, сказал: «Вот каких костромских я нашел!» Предложили и мне прочесть. Я взял микрофон и начал, но потом сбился и сказал, что я ничего не помню, не хочу читать...

Неожиданно ворвался в комнату придурок, который в столовой песни пел, в черных очках и стал читать, никого не спрашивая, какую-то длинную хуйню, народ стал расходиться, он тоже ушел, решив, что его и тут (в очередной комнате?) не понимают. В конце концов мы с Кузиным остались одни в номере. Прочитал он мне акцентное свое стихотворение. Я его спросил, почему он не пишет рифмованных, он сказал, что «вышел из этого психологического состояния»...

В заключение он, явно смущенный моим неосторожным (по его мнению) поведением на людях, стал мне предлагать прочитать книжку, которую он написал и издал, под названием «Если ты голубой» и под псевдонимом «Алексей Старцев». «Почему такой псевдоним?» — спрашиваю. «А ты „Братьев Карамазовых“ Достоевского читал?» — «Да, читал», — соврал я. «Так вот, там были Алеша и старец...» — «А!» — отвечаю. «А в этой книжке для тебя

кое-что интересное, если ты голубой...» На что я сказал, что я — не голубой. Но книжку все же взял и ушел в свой номер.

В своей комнате я упал в постель без сил и очень быстро и крепко уснул.

* * *

Второй день начался с того, что меня стал будить (словесно) Леня Медведьев, настаивая, чтоб я пошел на завтрак. Мне было очень дурно от выпитого накануне — от смеси водки, шампанского, вина, от бездумных шараханий по комнатам и всяких там «читок»...

Но все же я нашел в себе силы встать, умыться и пойти в столовую. Ужас! — это ... Министерство только и могло придумать, что спойть все Совещание в первый же день работы! А молодые литераторы оказались настолько бедственны, изнурены безработицей, недоеданием и мучительным обдумыванием своей литературной безысходности, что тут же сломались. Почти все — так до конца и не оправались (физически) от последствий организованной пьянки. Я тоже. (Пожалуй, крепки были лишь немногочисленные «почвенники», которые либо не пили вообще, либо они так здорово живут, что пили все оставшиеся дни и ночи беспробудно...)

На завтраке, весьма любезен, подходит Д. Кузин и между прочим спрашивает: «Ну, как творчество? Не написал ничего?» — «Не-а», — мотаю туманной головой. (Во шустрый какой! — про себя думаю. — Щазз!..)

Он удивился, потом спрашивает, а книжку, мол, прочитал (т. е. про голубых)? Я говорю: «Не-а, сам понимаешь, вчера был не в состоянии... А сегодня только встал, но прочитаю... Да, кстати, хочу показать тебе одну вещь — прозу...»

Он согласился. Я имел в виду прозу Артура Кротова, которую дал Д. К-ну почитать уже позже — в столовой: то ли в обед, то ли на ужине...

* * *

После завтрака иду в комнату Никонова, рано еще для начала работы семинара, но не могу нигде подолгу находиться — подташнивает, шатает... Захожу, вижу — в комнате Никонов, Сергей Прохоров. Никонов вытаскивает из шкафа (одежного) почти полную бутылку водки, говорит: странно, что осталась, мы тут выпивали вчера и, вероятно, не заметили...

Прохоров с радостью выпивает полстакана и начинает рассказывать некую историю.

Никонов предлагает мне тоже опохмелиться, я отказываюсь, он сам тоже пить не стал.

Так вот этот Прохоров (по его словам), когда напился, то пошел поискать, об кого б руки размять — привычка у него такая, когда выпьет... — и зашел в какую-то комнату и дал пару

раз по фейсу кому-то. Их разняли... Потом каким-то образом узнав, что кто-то упал с пятого этажа, побежал вниз, на первый этаж к администраторскому телефону вызывать «скорую помощь», вызвал или нет — не знаю, но слышит попутно, как дежурная по этажу ругается: «Такого еще никогда не было, такого бардака, а еще писатели называются — алкаши!»

А он ей отвечает: мол, потише, что это ты писателей оскорбляешь, старая блядь?! — Что-то в этом роде, в общем, и т. д.

В общем, наутро эта «блядь» написала заявление, пригрозив, что подаст на него в суд. И вот он уже и извинялся, а все без толку... Хотят его выгнать из пансионата.

Я не стал дальше слушать, ушел покурить на лестничную площадку...

* * *

Второй день работы семинара — работали только до обеда — прошел слух, что якобы Чуковцев приехал, но он так и не появился в этот день на семинаре...

Обсуждали теперь Лобухова. Я и Рустина его хвалили, но остальные (Никонов, Борщевская и проч.) — ругали. Короче, его «зарубили»...

Про остальных, кого обсуждали — ничего не помню.

* * *

Обед.

После обеда — экскурсия в город Ярославль и в Карабиху.

Но все по порядку.

После обеда приехали «икарусы», и все постепенно стали выходить к ним, я тоже — с удовольствием, т. к. плохо себя чувствовал, а воздух свежайший, морозный (а мороз терпимый), красота вокруг (лес!) необычайная. Я, конечно, вспоминал свое пребывание в этих чудесных местах, когда служил в ярославском стройбате. Немного волновался от предстоящей встречи с городом, который я так любил (только центр и набережную Волги), в котором написал несколько, может быть, лучших стихотворений — «Над Волгой» (первые две строчки «пришли» на Набережной), «Плеск, шелестя, по лиловой портьере...» (мучительно, в общаге), «Стихи про бакинскую ночь» (мучительно, в общаге), «Плещеево-озеро»...

Я отвлекся, но продолжаю. И вот все наконец разместились по автобусам, я сел рядом с Виктором Лобуховым — он мне очень понравился своей внешностью, ненаглостью и даже некоторым провинциализмом, к тому же стихи понравились тоже. Он взял с собой чемодан (большой и тяжелый), чтобы передать своей жене, которая работает в газете «Золотые купола». И рассказывал, что и не знал, что его пригласят, — кто-то из журн. «Грани» выслал его подборку стихов (цикл «Прощание») в оргкомитет Совещания — его и вызвали, что живет очень трудно —

пишет обзоры в «Русскую мысль» (Париж) — \$60 (раз в три месяца, что ли?) и устраивает книги по магазинам в Москве. В Москве живет на квартире знакомых, за сколько-то (много) баксов в месяц (в долг), а как рассчитываться будет — не знает. Подвизался в «Гранях». Болтали о стихах, он сожалел о том, что СССР распался как раз перед тем, как ему вступать в Союз писателей (мол, не успел). Но возврата к старому нет — его мнение. В Советские в нем некая надломленность бытовыми проблемами. В Советские не верит, говорит, что ерунда все это. Хорошо, что хоть можно вещи передать жене — дорога бесплатная. Только поэтому, мол, и согласился поехать. Я его все сравнивал с Блоком (некий типаж). И действительно, он блоковский поэт, вернее как бы рейновский. Ему нравятся эмигранты первой волны — Адамович, Г. Иванов...

Приехали в Карабаху, экскурсия по усадьбе Некрасова. Выходим из автобуса, идем по тропинке — хорошо! Воздух замечательный!

Усадьба великолепна! Несколько построек, парк, за одним из главных зданий — остатки леса, спускающегося с косогора. Мы с Лобуховым смеемся, шутим — и по поводу Некрасова, его усадьбы, и по поводу самих себя. Не идем с толпой за экскурсоводом, а ходим сами по себе, медленно, и все время разговариваем, у меня на душе временное умиротворение. Осмотрели только два здания изнутри, в остальные не заходили. Реакция у нас обоих — вот бы здесь жить! В тишине и тепле. Писать.

Шучу: Некрасов написал «Мороз Красный нос», глядя в окно на лесок...

Шутим: Некрасов был педофил: всё крестьянские дети да крестьянские дети! В одной из комнат — учебный класс: обучал детей азбуке? — доска, парта... А в окно видна деревня с «крестьянскими детьми»...

После Карабаху эскорт «икарусов» направляется в Ярославль. В Ярославле запланировано — сначала экскурсия по кремлю, что в центре, рядом с Подбелькой¹, затем поездка по старому городу, выход к набережной Волги (смотровая площадка рядом с памятником Некрасову).

Пока ехали до Ярославля, шучу: да, жаль, что нет музея Кузина.

Лобухов: да он ведь и не был еще поэтом в Ярославле-то...

* * *

Приехали к кремлю. Узнаю у кого-то из организаторов (женщины), сколько времени отведено на кремль — говорит: как ми-

¹ То есть рядом с площадью, до недавнего времени носившей имя какого-то Подбельского.

нимум 40 минут. Отправляемся в город вместе с Лобуховым, ему надо найти редакцию газеты «Золотые купола». Он хочет, чтобы я его сопровождал, рассчитывает, что если он не успеет к автобусу, придется или добираться на рейсовом, или ночевать у жены. Я ему советую ночевать у жены, но завтра утром к 10-ти часам вернуться в пансионат для того, чтобы поддержать меня на семинаре (меня должны разбирать завтра). Он соглашается. Мы расходимся в разные стороны.

Я немного прогулялся по центральной улице (им. Некрасова?). И быстро-быстро побежал к кремлю...

Там как раз начался колокольный концерт — здорово! (Хотя я слышал и раньше, когда служил в Ярославле, достаточно часто эти колокола.) Некоторые пьесы были просто джазовыми. Стоя рядом с Никоновым, ему тоже нравилось. Когда концерт кончился, все зааплодировали и закричали «Браво!». Тогда музыкант сыграл с большим воодушевлением кое-что на бис.

Сели по автобусам и поехали дальше. Пассажиров в автобусе стало значительно меньше — некоторые решили прошвырнуться по городу...

Экскурсия по Ярославлю. Центр, Набережная. На Набережной выходили к Волге. Но зимой Волга не та, ее надо смотреть, когда она безо льда. А так — просто белое полотно. Я одинок.

Когда садились вновь по автобусам, заметил, что очень живописно смотрелась Вероника Рустина, прямо как барышня, в своем капоре красного цвета, и выражение глаз...

В пансионат вернулись к ужину. Аппетит ужасно разыгрался, я, по-моему, даже лишнюю порцию съел. Лене говорю: «Ну и что, кто не успел — тот опоздал, а кроме того, многие в городе остались...» По-моему, в этот вечер за ужином или после него меня познакомил Лена Медведьев с московской поэтессой Ольгой Добрицыной и ее подругой. Говорит: «Какие красивые девушки живут прямо рядом с нашим номером — а тут такой красивый парень, и к тому же — гений», — (про меня). Мы с Олей Д. договорились дать друг другу почитать свои творения.

После ужина должен был быть в актовом зале (по расписанию) концерт участников Совещания, но почему-то вместо этого в зале некие люди стали показывать фильм за деньги (1500 руб. за билет) и народ рассосался по комнатам. Я тоже сунулся сначала в акт. зал, но, поняв, что там ничего интересного, поднялся в холл какого-то этажа (второго?) и сел смотреть телевизор: передавали симфоническую музыку. Пришли Кубанов и Шишиных. Сели на диваны. Спрашивали у меня про концерт. Я им сказал, как все обстоит... Тут по телеку начались «Вести»: информация про Чечню. Обстановка как-то напряглась даже вот в этом холле. Я тоже внимательно смотрел и слушал. Правда, когда «Вести» уже кончились, я несколько «черно» пошутил вслух: «Вот было бы здорово, если бы боевики узнали, что мы тут, — и нас тоже взяли бы в заложники! Федеральные войска бы нас

расстреляли — и все были бы довольны: боевики — потому, что доказали бы России и Черномырдину, что именно Россия расстреливает заложников, Россия и правительственные чиновники — потому что избавились бы от последних совестливых интеллигентов, мы все — потому что в одночасье стали бы знаменитыми национальными героями, наши произведения бы сразу распечатали, а мы получили бы столь желанное для нас бессмертие.

Появился Д. Кузин с гранками (для «Ugbi»), которые я ему давал почитать (проза Артура Кротова), очень взволнованный. Говорит: «А сколько же у тебя псевдонимов?» Я говорю: «Да нет — это настоящий, живой автор, живет в Петербурге». Ему очень понравилось, и он обещал показать эту прозу кому-нибудь в Москве...

* * *

Кто-то пришел и сказал, что концерт все-таки начался. Я пошел в акт. зал: действительно — Алексей Кузмичев (с нашего семинара) ведет концерт и в паузах играет на гитаре и поет (очень хорошо) свои песни. Атмосфера в зале домашняя и полуприватная (полусвет, освещена только сцена, народу немного, все сидят в темноте и читают по одному своему стихотворению). Я пришел, и Кузмичев предложил мне почитать стихи. Тут, вижу, появился и Кузин, и Кубанов с Шишинковым... То есть народ прибывал, появилась девушка со «Свободы» с микрофоном.

Я прочитал «ташкентские» стихи: «И ты покорён сим теплым руном...» и «Ты Ташкент листал и перелистывал...», сказав, что они идут как одно стихотворение. Кузин наотрез отказался читать стихи. И Кубанов тоже. Зато Дима Шишинков с удовольствием прочитал что-то, когда я его представил как «нового гения». Дамочка с микрофоном записала. Я прочитал (когда «круг» опять вернулся ко мне) стихотворение «Прощание», предварив его такими словами: «А сейчас я вам прочитаю ура-патриотическое стихотворение. Меня за него ругают, но я его все равно очень люблю...»

Затем, вдруг, в зале появились Б. Темных (очень пьяный) со своей свитой. Б. Темных стал командовать: «Пойдите по комнатам, позовите всех сюда!» Некто из его свиты стал читать очень плохую и бесконечную поэму. Мы с Д. Кузиным и костромичами, решив, что аура разрушена, встали и ушли из зала. За нами потянулись некоторые участники...

Мы пошли в комнату к Кузину, где читали стихи: Кузин, его два московских приятеля, девушка, о которой я уже писал (см. танцы), я и Д. Шишинков. Шишинков — настоящий поэт, он всем очень понравился. Сначала все читали (очень тихо) обычные стихи, потом, когда несколько уже поднабравшаяся девушка (она выпивала с одним из московских мальчиков тут же), сказала, что прочтет «дамское» стихотворение, и прочитала нечто лесбийское. «Так, теперь пошла „тема“», — откомментировал кто-то. И все стали читать «тематические» стихи. Я попросил, чтоб

мне тоже налили водки. Они налили, я чуть-чуть выпил. Я тоже прочитал пару своих «тематических» стишков. Хотя народ не понял их (не понимают моих стихов).

Дима Шишинков тоже хорошо смотрелся...

В конце концов все немного устали, тем более что девушка стала приставать к тому, с кем она выпивала, с весьма явными намерениями. Они стали целоваться. Все поняли, что надо расходиться, и разошлись.

* * *

Не помню в какой момент, но это было, кажется, вечером, я заходил в комнату к Никонову по его просьбе. Мы с ним немного поговорили о разном, прежде всего — о моем положении. Он расспрашивал, кто я, откуда и т. д. Говорили о моих стихах (я оставлял ему почитать). Он мне очень понравился — тихий, несуетливый, немного скованный. Говорит внятно, слушает внимательно. Не наезжает. Вполне интеллигентен и корректен. Говорили о семинаре — кто понравился, а кто — нет. Любит стихи Тютчева...

* * *

В третий день тоже был семинар (до обеда). Именно в этот день меня и разбирали. Вот тут-то все на мне и отыгрались! За все мое мракобесие. Но все по порядку. Сначала разбирали Веронику Рустину (все ее хвалили). Потом очередь дошла и до меня...

Накануне К. Никонов мне советовал читать лишь то, что лучше слушается, намекая на осторожность. Но я стал читать самое разное, начав с «Отдельной стройроты» и заканчивая «Ты ли забыл липкий вкус шоколада...», т. е. очень смело. В итоге — у всех стали несколько расширяться глаза, чувствую, как все тонет в липком томас-манновском тесте. Но мне было все равно, кроме того, я пригласил накануне вечером Д. Кузина прийти в наш семинар мне на поддержку, и он пришел, за что ему особая благодарность. Он сидел рядом со мной справа. Честно скажу, я читал очень плохо — я устал, вымотался, истратился на других — я буквально тараторил быстро и тихо. Кроме того, специально для приехавшего и подключившегося накануне к работе семинара О. Чуконцева, мне пришлось перед чтением «рассказывать о себе» (что всегда унижает), и тогда я среди прочего сказал, что в Ташкенте я занимался тем, что писал мелодии и тексты для песен. Он спросил: «Что, и на заказ?» Я, понимая весь подвох вопроса, все же ответил: «Да, писал *шлягеры* на заказ тоже...» Он недовольно поморщился (Чуконцев). И вот, когда я закончил читать (я прочитал стихотворений шесть-семь, кроме названных были еще и «Жестокий вальсок», «В край зеленого ислама...», «Нет, не шоумен я, не толстосум...», «Не забывай горячее...», «Я едва уловил этот слабый намек...»), все ужасно ожи-

вились и набросились на меня (а до этого были в полной мере отключке), причем все зацепились за мое слово «шлягер», сказанное в отрыве от текстов, мол, это песенки, и потому плохо... Практически все высказались в одинаковом духе: так писать нельзя... Кубанов, Прохоров прицепились к слову «шлягер», Чуковцев стал меня сравнивать с Луговским, притянув ко мне эстетику шестидесятых, эстрадность и т. д. Тут выступил Д. Кузин и стал очень осторожно и не совсем умело меня защищать, говоря, что я — «новый Кузмин». Его оборвал Никонов, который кинул реплику типа «нет, это не Кузмин, это другое...» Потом выступал Гусевич, тоже ругал, но я уже ничего не слышал (все это время тексты ходили по рукам), что-то бормотал Туда. Лобухов, сделав ужасными глаза, стал сбивчиво, испуганно говорить мне: «Так ты же в первый день читал совсем другое!.. Нет, нет, это все неправильно...» В конце концов мужественными оказались лишь женщины: Наташа Михайлова, перебив всех, стала читать «В край зеленого ислама...» и темпераментно говорить, что это очень здорово — хорошие, сразу же запоминающиеся стихи, очень пластичные, это совсем не тексты песен, это настоящие стихи... После нее стала читать и тоже хвалить мои стихи Вероника Рустина, она читала, кажется, стих-ние «Чего еще нужно, о Муза? — по праву...».

В заключение сказал Конст. Никонов, что я очень плохо прочитал свои стихи, и поэтому их никто не понял так, как они написаны, и прочитал стих-е «Нет, не шоумен я, не толстосум...». Очень хорошо прочитал, я так не умею. Он запретил употреблять слово «шлягер», которое здесь ни при чем. Он говорил много. И хорошо... Но мне хотелось как можно скорее выйти в коридор из комнаты, силы меня оставляли, но все же, когда он закончил, я нашелся, что сказать в ответ...

Я всех благодарил...

* * *

Затем я вышел в коридор.

Я ушел в конец коридора, на лестницу, закурил. Через некоторое время пришел Лобухов. Желая успокоить меня. Или оправдаться? Начал мне что-то говорить о своем вчерашнем посещении жены. Я весьма рассеянно слушал, думал о своем: что как-то все глупо получается. Надоело все, хочется куда-нибудь скрыться, уехать, спрятаться с глаз долой — от всех... Лучше бы домой. Так хочется тишины, покоя, уюта, тепла и чистоты. Но в то же время как-то легко стало: публичное обсуждение (осуждение?) позади... И слава Богу!

Лобухов извинился за то, что меня ругал, стал рассказывать, что долго не мог найти редакцию газеты «Золотые купола», пошел совсем в другую сторону, и в конце концов пришлось ехать на квартиру жены, где она его покормила, спать уложила и так далее...

Через некоторое время появился С. Прохоров (его, по-моему, разобрали вслед за мной) и стал рассказывать об инциденте с дежурной по этажу и развитии этого инцидента...

Выяснилось, что у него в комнате есть водка, я предложил немного выпить, но перед тем, как зайти к нему, мы все втроем вернулись в комнату, где заканчивался семинар, т. е. зашли и сразу вышли. <...> Я пошел в комнату Прохорова, и он мне налил граммов 150 водки, я выпил, закусил черным хлебом. Он вздыхал (похмельное), молчал.

Потом извинился за то, что ругал меня... Я ему соответственно тоже высказал свое сожаление о том, что не присутствовал на разборе его стихов, и попросил у него его книгу, он мне подписал...

Ушли на обед.

* * *

Обедал на этот раз в компании Лени Медведева, Ольги Добрицыной и ее подружки. Они меня спрашивают: как дела? Я говорю, смеясь: «Меня разругали в пух и прах! И это — нормальное явление...» Они разочарованы. Я спрашиваю, соответственно, их. У них тоже результаты херовые...

* * *

Когда поднимался по лестнице с обеда — навстречу, спускаясь, Кузин: «Да», — говорит, проходя, с укоризной, обидевшись. Я, смекнув в чем дело, кричу ему вниз: «Да все в порядке! Успокойся!» Он мне: «Да, да, да — я спокоен!» — кричит...

(Дело в том, что во время обсуждения моих стихов на семинаре он был свидетелем, как мне несколько заговорщицки подмигивал Виктор Л., жалея меня, извиняясь и, возможно, любя... Кузину это, вероятно, не понравилось...)

Какие люди все-таки — деспоты!

После обеда и до ужина — свободное время.

* * *

Помнится, наконец-то я нашел время зайти в комнату к Ольге Добрицыной, давно обещал обменяться с ней стихами...

И вот — захожу, девчонки слегка поддали рябиновой наливки, но еще есть в бутылке. Ольга мне налила за знакомство, и я выпил такое замечательное пойло! Меня тут же хорошо понесло, голова перестала болеть, и я взял ее стихи и просто прилип к ним, то и дело говоря: «Вот это да! Здорово!» Многие ее стихи мне понравились, я предложил показать в журнал «Петербург». А она тем временем читает мои и тоже восклицает: «Это же Мандельштам, какая прелесть! Это — музыка!» и т. д. Смотрим друг на друга влюбленными глазами и оторваться не можем, что-то говорим друг другу, рассказываем о себе.

Оказалось, что Ольга публиковалась в журнале «Москва» в 1990 году, и я даже вспомнил эти стихи — они мне и тогда понравились.

* * *

Всю вторую половину дня, а потом и весь вечер мы были свободны от официальных мероприятий. Я решил все-таки выяснить по поводу оформления документов у организаторов, и направился в одну из их комнат. Некий мужчина отметил мне командировочное удостоверение и, узнав, что я из Питера, стал меня уговаривать, чтобы я организовал среди питерцев заявление-поручительство по отношению к С. Прохорову, конфликт которого с администрацией пансионата все еще продолжался. Я, правда, ничего не понял, но внешне соглашался, хотя намекал на то, что надо бы говорить по этому поводу с руководителем питерской делегации.

В другой комнате симпатичной молодой девушке я отдал 100 тысяч руб. для приобретения мне билета из Москвы до СПб. и просил, чтобы билет был недорогой. Обещала, что завтра билет будет.

* * *

Зашел в соседнюю с нашей (через стенку) комнату к Виктору Лобухову, который меня пригласил на чай или кофе. Он был один, стоял спиной к двери, у окна. На подоконнике с помощью импровизированного кипятильника готовился кипяток для чая-кофе. Виктор молчал. Войдя, и я некоторое время тоже молчал, смотря на него: высокий рост, широкие плечи, узкие бедра, длинные ноги, руки, одет в серые джинсы и серый же свитерок — он был достаточно живописен... Но вдруг открывается дверь и заходит Л. Медведьев (он знал, что я здесь) и стал со мной, несколько раздраженно, говорить по поводу рукописи его стихотворной книги «Евангельские сюжеты», которую он мне дал после неудачных переговоров об ее издании с Д. Кузиным. Ленья, явно понимая, что помешал нам, и потому еще более нервничая, стал настаивать меня относительно его авторских прав и того, как он эту книгу хотел бы видеть изданной (только полностью). Я говорю «да, да, да...». Затем пришли знакомые Лобухова, легкопочвенники, их было двое. Медведьев ушел. Мы вчетвером стали пить — кто кофе, кто чай. И разговаривать о литературе, о Советании, о политике и прочем. Некий поэт из провинции (маленький, русоволосый) то уходил куда-то, то приходил, подключаясь к разговору. Он взял мои стихи, которые я давал В. Лобухову по его просьбе (он обещал показать некоторые из них в журн. «Грани»), и, не очень-то увлекшись ими, положил на место. Через какое-то время он, выпросив у Виктора пять тысяч и пообещав прийти с шампанским (всем хотелось выпить), ушел и больше не появился в комнате никогда.

Дальше и после ужина мы сидели и пили чай втроем: я, Виктор и его друг по Литинституту, некто прозаик Гриша Лайсов — тоже весьма интересный (внешне) молодой человек. Правда, он был чуть-чуть «простоват» в общении, но в целом весьма симпатичный. Мы с ним стали спорить, в основном о политической ситуации: я ратовал за демократию, он за социализм. Он явно мной увлекся. Немного читали стихи, говорили о Г. Иванове. В целом было тихо и спокойно, даже как-то умиротворенно. Я все время вздыхал и говорил: «Ох, как здесь хорошо! Какой кайф! Тишина!» Я действительно отдыхал. Весь пансионат в это время гудел — по-черному! То и дело раздавались песни и ругань, в коридор из комнат выскакивали пьяные полуодетые бабы, за столами все ругались чуть ли не матом — и все по поводу несчастной поэзии! (В какие-то моменты я пару раз прошел вдоль коридора, мимо открытых дверей.)

* * *

Где-то перед ужином мы с Гришей Л. вышли на улицу — подышать свежим воздухом, успокоиться и отдохнуть. Звали пройтись и Лобухова, но он отказался. Ходили по парку, воздух замечательный! Ах, как хорошо!

Разговаривали. Г. Л. рассказывал о себе, о том, что приехал с Украины, где жил с женой и с сыном. Из Днепропетровска его выгнали Борис Темных, редактор ярославской газеты «Очарованный Россией», работать в этой газете. Вот уже некоторое время он вынужден жить у знакомого, так как своего жилья нет. Получает лишь 200 тыс. руб. Жалуется, что жить невозможно. А литгазета (в ней он служит) хиреет. Конечно, он мальчик хитроватый, но в целом я ему посочувствовал.

Говорили о литературно-издательской политике.

Мое мнение: рентабельной некоммерческой литературы не может быть. Деньги надо зарабатывать коммерческими изданиями, и только для души делать некоммерческую литературу. Либо — спонсор. Второй путь возможен, если было бы в стране соответствующее законодательство — значительная налоговая скидка предприятиям, вкладывающим часть прибыли в некоммерческие виды искусств.

Его мнение: чтобы журнал, или альманах, или книга были интересны элитарному читателю — надо работать с авторами. То есть, в каждом издании должно быть по два-три первоклассных автора, с которыми и работает издатель. А нынешние толстые журналы, ориентированные на «текущий литпоток», если лишить их поддержки со стороны, обречены на гибель...

Вот так вот, собственно, мы и говорили.

* * *

Вернулись в комнату. В это время руководители и организаторы совещались, кого принимать в члены Союза и кому давать стипендии (премии?).

Вдруг в комнату ворвался взволнованный, слегка вспотевший Леня Медведьев и говорит: «Тебя вызывают на четвертый (пятый?) этаж, фотографироваться. Тебя приняли в Союз. Иди!» Я несколько взволновался, но, в принципе, такой результат был логичен. То есть я прокручивал такой оборот событий...

Я пошел на указанный этаж. Там стоят несколько человек, все нервничают. Действительно: фотоаппарат (на ножках), сидят фотографии и кто-то из организаторов. Но почему-то не начинают. Я немного постоял, потом спустился к себе, потом опять поднялся. В какой-то момент появился Кузин и, положив мне руку на плечо, говорит весьма взволнованно: «Говорят, здесь происходит историческое событие?» Я говорю: «Какое?» Он отвечает: «Тебя принимают в Союз писателей!» — «А! — отвечаю. — А ты в Союзе?» — спрашиваю. Он мне показывает членский билет, по-моему, патриотического Союза. Он мне еще что-то хочет сказать, но ко мне подходит какой-то старовозрастный поэт из провинции, внешне похожий на бурята, и начинает совать мне в руки сборник своих стихов, причем подписанный другому человеку. Я сборник этот от себя отталкиваю, говорю: «Зачем мне? А почему — мне?..» А он настырно так сует и начинает долго и нудно рассказывать, кто он и откуда и так далее. Кузин недовольно фыркнул, мол, с кем это ты беседуешь, и убежал куда-то вниз по лестнице.

Канитель с фотографированием протянулась до самого ужина: ждали утвержденные списки.

Перед ужином я заскочил в свою комнату, вижу — хорошо «посидели» Леня Медведьев и Оля Добрицына — и как раз только что допили остатки Лениной водки. Я говорю: «Ах, я так хотел выпить!» — «Ну, тебе же все некогда зайти в свой номер», — резонно отвечает Леня. В это время Оля, спросив у меня разрешения, стала забирать некоторые свои стихи из стопки стихов (стихи, незащищенные, лежали на столе), которые я насобирав. Я сопротивлялся, но что ж поделаешь: Оля забрала лучшие свои стихи...

* * *

После ужина: сбор всего семинара в комнате Никонова. Были, по-моему, все, кроме Виктора Л. и Чуконцева.

Константин Никонов поблагодарил всех за участие в работе и обнародовал итоги семинара: рекомендовали принять в Союз А. Кирдянова, В. Рустину, И. Туду, О. Кубанова (то есть фамилии прозвучали в обратном порядке). Стипендию (1 млн руб.) решили дать самому нищему — О. Кубанову.

* * *

Затем — снова канитель с фотографированием. Я плюнул на все и ушел в комнату Виктора Л. Через какое-то время (около

десяти вечера) я снова поднялся на этаж, где намечалось фотографирование. Там уже многие снялись. Я подошел к организатору, он сидел в кресле со списками, в них я стал искать свою фамилию. Организатор-списочник ее очень быстро нашел и спросил, на какое имя надо выписать членский билет. Я отвечаю: «На оба: фамилия и псевдоним». Он говорит, что нельзя так. Надо выбирать. Я выбрал псевдоним. Он записал куда-то к себе и отправил меня фотографироваться. Меня быстро «щелкнули» какого есть — с растрепанными волосами, худощего, страшного, с нечеловеческим напряжением во взоре...

Когда я уходил, списочник попросил меня найти Кубанова, который был в нашем семинаре, я с радостью согласился, решив, что Кубанов — это Виктор Лобухов, так сильно я думал о В. Л. и так мне сильно хотелось, чтобы его приняли в Союз... Быстро побежал в комнату Виктора и стал его торопить, мол, тебя тоже вызывают. Он неимоверно взволновался, глаза его засветились. Как-то он выпрямился аж; очень растерялся, стал что-то нашептывать. «Да, да, — говорит, — идем». — «Погоди, — говорю, — надо тебя расчесать», — и даю ему мою расческу. На бегу он расчесывается, я бегу следом за ним... Прибегаем к списочнику, и тут выясняется оплошность...

В. Л. огорчился, что-то мне говорит, я оправдываюсь... Возвращаемся в его комнату...

Я снова у В. Л. и Г. Л. Пьем чай и кофе, курим сигареты В. Л. Беседуем в тишине допоздна...

* * *

На следующее утро я проснулся — и первая мысль: надо идти к В. Л., чтобы забрать расческу, иначе мои волосы торчат во все стороны...

Очень быстро встаю, лишь сполоснув лицо и наспех одевшись, вваливаюсь в комнату В. Л. и Г. Л.: Г. Л., уже одетый, сидит на кровати, смеется, подмигивает мне. В. Л. лежит в постели, до подбородка укрытый одеялом.

Я говорю: «Ну что, „звезда“! Все еще спишь?» И заставляю его найти мою расческу в его вещах, для чего ему приходится привстать с постели и представить на обозрение мне свое оголенное тельце: христовский торсик, тонкие руки. Я доволен...

* * *

Вернувшись в комнату, слышал радио. Сообщили, что в Первомайском заложники уничтожены боевиками, а боевики — федеральными войсками. На самом деле — войска расстреляли заложников, а боевики, не тронув последних, ушли еще до обстрела...

Я зол. На Грачева. И на всю эту номенклатурную шпану...

* * *

После завтрака — собрание по итогам и закрытию Совещания.

Уже в зале меня поймал Конст. Никонов и стал говорить со мной о моем поведении и дальнейшей жизни. Конкретику разговора он просил сохранить в тайне, что я и делаю.

В конце концов он успокоился. А мне надо было срочно идти к Оле Добрицыной, с которой мы договаривались кое-что обсудить. И я, извинившись перед Никоновым, сказав, что меня ждут, ушел.

О. Д. сидела в зале с подружкой. Она мне дала прочитать свою прозу — очень хорошую по стилю (она пишет прямо почти как я! Конкурентка. Я так ей и сказал). Она предложила переписываться. Я согласился, но решили подождать результатов просмотра ее стихов в журнале «Петербург».

Но тут началось заключительное шоу.

Откуда ни возьмись, в зале появился «помощник Яковлева» (он так представился), архитектора перестройки, и стал раздавать книги своего босса. Я взял одну. На сцене в это время выросла «телевизионная голова» — Яковлев.

Началось собрание: речи. Говорил и Яковлев. Говорил хорошо, пока говорил без бумажки. А потом он стал читать записку, сделанную, вероятно, учителем литературы какой-нибудь сельской школы, и народ стал засыпать, а в некоторых местах хихикать: он очень смешно коверкал фамилию Мандельштама.

Затем стали объявлять фамилии награжденных от фонда Яковлева (по 1 млн руб.) и вручать деньги, затем — от администрации области (сколько — не знаю) вручали деньги.

Потом вручали членские билеты. Мне тоже вручили. Я поднялся на сцену и долго жал руку Золотусскому. Называющий фамилии уже после того, как я сел, с воодушевлением произнес: «Какие все молодые, красивые ребята!» — не думаю, что это относилось ко мне.

В какой-то момент я успел подскочить к Яковлеву и взять у него автограф на его книге. Он спросил, как меня зовут. Я ответил: «Алексей Кирдянов». Он: «Какая... странная фамилия». Смеется: «С такой фамилией будете знаменитым!» — «Если хотите почитать мои стихи — читайте журналы „Звезда“ и „Петербург“», — я ему. Он смеется, весьма довольный, подписывая книгу.

Яковлев исчез со сцены так же неожиданно, как и появился.

* * *

С чего-то вдруг народ просит у меня адресок. Я диктую не совсем правильный (я и сам его плохо помню).

После обеда — организованный отъезд. Проблемы с билетами: мне девушка-организатор привезла билет, но необычайно до-

рогой. Я не решился его брать. Пришлось ей, бедненькой, ехать еще раз в Ярославль, чтобы сдать мой билет обратно, а мне вернуть хотя бы часть денег. Мне же придется ее какое-то время ждать — и из-за этого я не успеваю на автобус до Москвы.

Все суетятся, набиваются в автобусы, я с вещами сижу в холле первого этажа.

Подбегает Д. Кузин: «А ты что, не едешь?» На мой отрицательный ответ несколько с подозрением на меня смотрит, думая, что со мной не совсем чисто, если я, по его мнению, остаюсь на «взрослую» тусовку. Я не стал с ним объясняться. Он просил мой адрес, я ответил, что у меня есть его телефон.

На том и попрощались, второпях.

Наконец все уехали. На какое-то время пансионат затих. Я отдыхаю в тишине, какой-то звонкой и неестественной. Через некоторое время вернулась девушка с моими деньгами (часть все же «сгорела»). Она извинилась и сказала, что надо ждать автобуса с участниками второго Сопещения.

К счастью, ждать долго не пришлось. Автобус, выгрузив небольшую партию «цвета русской литературы», повез меня (одно-го!) в сторону Москвы.

* * *

А по дороге внутренний интервьюер привязался:

— Ну, что, как ты тут себя чувствуешь?

— Лучше.

— И что бы ты хотел вот сейчас сказать миру... если б мир поинтересовался?

— А одно слово на языке вертится — «благодарность»...

— Кому?

— А всем... *«Благодарю тебя, отчизна, / За боль и стыг благодарю; / За то, что призван, вызнан (?), признан — / И дар кому-то там (?) дарю!»*

* * *

Уже ближе к Москве водилы включили в салоне «Русское радио»: Алла Пугачева и Филипп, банька с тазиком! — плещутся... Хорошо!..

Январь — шоль 1996 г.; февраль 1997 г.
Санкт-Петербург

Вадим Демидов

USSE

И, знаете, что пришло мне в голову? Вот как отрезало — не могу понять, почему главной книгой мы Библию выбрали. И, как следствие, ее центральный персонаж автоматически богом стал. Хотя, как говорит мой алкогольствующий приятель, слово *бог* — единственное в языке не имеющее точного значения. Ведь сколько книг шикарных — бери не хочу. А персонажей — и того больше. Чем Штирлиц плох, или Остап Бендер, или Пиквик, наконец? А суицидальный Ромео, бойфренд Джульеттин? К примеру, Наф-Наф на месте бога выглядит более предпочтительно. Особенно в пересказе Сергея Михалкова, отца кинематографических близнецов. Несмотря на то, что Наф-Наф — в сущности всего лишь молодая свинья, свинья эта умна не по возрасту. Ничего не объясняя братьям (читай — пастве), сложил себе каменную келью и дрочит там по-тихому. Ну разве не образец?

А колобок и того пуще — круглый, как моя бритая голова, ото всех ушел, ото всех убег. Хвалился-бахвалился поболее Христа библейского, да лисе на зубок и угодил. Естественно, лиса — это Пилат (sic!), но не тот, что у Булгакова — с рефлексией русского интеллигента, а который со следующим распорядком дня: подошло время обеда, ням-ням колобка и на боковую.

А Булгаков этот — ну до чего гадкий писателишко!

Как-то на вечеринке (по-моему, сослуживцу тридцатник стукнул) я, перекрывая пьяный лай о смысле жизни, максималистски выдал, что живем мы лишь затем, чтобы найти свою пизду. Не в размерах дело, конечно. А в сумасшедшей иррациональности выбора, в экзистенциальной заморочке. (Сначала поставил многоотчие, а потом с удовольствием его «делетировал»).

Я смехом давлюсь, когда слышу об осознанно посаженной елке-палке, о построенном чудо-доме (обычно — садовой сараюхе) и выращенном пидоре-сыне в диапазоне от хронического пациента дурдома до эстетствующего поэта-песенника. Какой сын, какое дерево — найди свою пизду. И стань ей своим, стань вровень, припади к ее соленому источнику, прижмись, прилипни.

Не суйте мне свои потные деньги или набор прекрасных ништяков, я занят, я ищу свою пизду. Я запускаю сигнал эхолота и жадно слушаю ответные вибрации; похоже ли это на то, что я ищу? Нужен повторный сигнал. Уменьшаю допуски, сверяю коэффициенты. (Помогут ли ряды Фибоначи?) В крайнем случае — про-

дуть цистерны главного балласта, выровнять обертона и законтрагаить. Если я ежедневно схожу с ума — то, видимо, приближаюсь к цели, и, значит, тепло, теплее, уже горячо, обжигает...

А если ты спокоен, как киплингowski Каа, то, может быть, неправильно набран номер, и ты попал не в пизду, а в богом забытый Чувашский бибколлектор, и хватай скорее свою слегу (помнишь Лизу Бричкину из «А зори здесь тихие»?) и выкарабкайся, выкарабкайся. И снова шуруй, гладь и брейся. Начиная сначала, с яйца. О яйцах ниже.

Еще о том же. Хуй — несомненно, такой же архетип, как мать, Родина, письмо к подружке.

Мать может быть родной (т. е., биологической) и не родной (мачехой, вспомни сказку «Морозко»), лишенной материнских прав. Родина — малая, историческая, вторая, третья. Израиль, в конце концов. А что говорить о письме к подружке, которое, с одной стороны, почти всегда не доходит до почтового ящика, зато легко попадает в мусорное ведро; с другой стороны, оно являет собой нетипичный половой акт, где перо есть сублимированный член (я не говорю — хуй), а бумага — огромная ненасытная пизда. И при этом всегда следует иметь в виду, что налицо редко нормальные роды, а чаще выкидыши и импотенция.

Хуй один. (Забавно, что Один с ударением на первый слог — имя верховного божества в скандинавской мифологии, и фраза выглядит весьма убедительно). Он как бы первосмысл. Первач.

Если та первая уже-не-обезьяна-но-еще-не-человек (в общем, то, что мы называли богом) что-то и имела особенного, то только хуй. Архетип архетипов.

Представляю Дарвина, который, наверное, чуть-чуть Мичурин и чуть-чуть Чарли Чаплин и который радостно ворочается в гробу при слове «эволюция». И при слове «хуй» тоже, ведь кто, как не хуй, эту эволюцию и совершает.

Радуется, что хуй всегда с тобой. Потому что даже если надеть плащ и брюки, ты и есть самый настоящий хуй, у которого имеется немножко ручек и немножко ножек. И иногда берет на лысине.

Вероятно, был удивительный, солнечный день, когда на вопрос: «Все в порядке?» — я услышал отзыв: «Буденный на лошадке!» Этот ответ напоминал о радостном кипении жизни, отсылал к ее ласковым нетрадиционным ценностям. С его помощью я с удовольствием отхлебнул от того Искусства, которое намного больше, чем втиснутые в формат книги, экрана, сцены живые картинки, часть из которых fiction, а другая — faction.

Вот некоторые из придуманных мной отзывов на «Все в порядке»:

Овощи на грядке,
Огурец в кадке,
Остатки сладки,

Больные придатки,
Хуй в матке,
Боли и припадки,

Кровища на матке,
Туристы в палатке,
Собирай манатки,
Засверкали пятки,
Взятки гладки,
Веселей, ребятки,
Наложены заплатки,
Ломики-лопатки,
Бегом без оглядки,
Сабонис на площадке,
Кислотные осадки,

Аристоны и Вятки,
На жопе латки,
Боинг на посадке,
Айда на блядки,
Во море касатки,
Соломенные хатки,
Тампаксы-прокладки,
В клеточку тетрадки,
Заряжены рогатки,
Ребусы-загадки,
Получены задатки,

и т. д.

Намедни жена мне рассказала, что когда она впервые увидела мой хуй, была весьма удивлена его формой. Якобы из 10 — 20 хуев ее предыдущей жизни, мой был особенный. Он напоминает ей траченную временем детскую соску с резким сужением к кончику.

Мне случалось бывать в бане, но то ли паяться на чужие хуи мне казалось неудобным занятием, то ли по причине собственной ненаблюдательности, но никаких различий в строении я не заметил. Тем же вечером в ванной комнате я, положив хуй на ладонь, спокойно и внимательно рассмотрел его. Ладонь была мокрой (я принимал душ), хуй был тоже мокрый, как цуцык, и родство этих разнополюх органов было настолько близким — просто как кузен с кузиной, а, может, и еще родственнее. Особенно после того, как кузен стал расти и по отношению к ладони занял верховное положение, словно красавец-муж к замухрышке-жене, но даже это сравнение ни к черту. Густую перламутровую жидкость ладонь приняла каждой своей порой, каждой клеткой, всеми губами, всем горлом.

А что до этого было? Нина Берберова в автобиографическом «Курсиве» вспоминает, что Марина Цветаева, «выдернув вилку из штепселя», в темноте «нападает (на нее), щечочет, обнимает». «Я вскакиваю, не сдержав крика. Свет зажигается. Эти игры мне совсем, совсем не по душе».

Представляю, с одной стороны жена поэта Ходасевича, сама поэт, которая «совсем, совсем не», а с другой — Марина, такая «остолбенелая», с мальчиковой челкой. И, кстати, короткое станет длинным, когда найдется короче (Дао де дзинь).

Харви Кейтель в «Криминальном чтиве» произносит, разводя руками: «Однако рано сосать друг у друга концы». В смысле, рано радоваться. Эта фраза несколько раз на дню всплывала в уме, и каждый раз я упивался ее похабной сочностью. Она меня просто заводит. Прочитывал ее Кире Кобрину, он отблагодарил меня рассказом о ГАИ (сказал: ГАИшке), многопалом автодорожном монстре. Так вот в циркулярах этой самой ГАИшки запрещено употреблять слова «расчленять» и «вычленять». Командиры их, видимо, произвели морфологический разбор приведенных выше слов и натолкнулись на «член».

Императив от «страховаться» — «страхуйся», «застрахуй» они бы и вовсе из языка выкинули.

А потом он еще и в свою теорию о загнивании КПСС меня посвятил. Ну не могла женщина—член партии не разрушить систему. Мужик — он еще так-сяк мог в членах походить, а та Бальзаковская мадам в мышинном костюме и в крашенных белой «нитрой» лодочках никак нет. Она подсознательно стремилась быть женским органом КПСС, т. е. пиздой КПСС, но ее жутко динамили. Она лезла в президиум, к кафедре, к графину, к кормушке, наконец, а ее членом по голове. И тут уж какая ни расакакая дура, а завоюет белугой.

Стоял бы нерушимый Союз веки вечные, только назови ее, коммунистку — пиздой и по отчеству. А они заладили: член да член!

Забавно, что все синонимы слова «жадный» начинаются на «ж». Я вспомнил: жопа, жадеба, собственно жадина, жировик, жид. Давно думаю о слове «мать».

«Мать», несмотря на назойливые отсылки к пролетарскому роману моего усатого земляка, все же хочешь не хочешь означает (извините за тавтологию) истинную мать как образец. Ее я принимаю за 100%.

Матрешки — все остальные родившие или выростившие потомство. Отличие варварски огромное.

Матюки — видимо, плохие матери, может быть, лишенные родительских прав.

Мать-перемать — то же, что мать-героиня. 5 и более детей.

Матрона — частный случай, матрешки с рубенсовскими формами. Бальзаковский возраст.

Мама — моя мать.

Матрица — мать с хитрецей. Она суть явная матрешка, но стремится выдать себя за мать.

Обожаю бунинские «Темные аллеи». Какие в этой темноте страсти, какие любви, какие само- и просто убийства.

Перечитывая «аллеи» последний раз, от нечего делать помечаю на полях и считаю смертельные исходы: 3 самоубийства (одно — из двух револьверов в виски), 7 убийств.

Понравилась одна ремарка. Рассказ «Гость». «По-быстрому выебал кухарку и съебал».

Кое-что не могло не запомниться.

О самоубийстве. «Он был очень влюблен, а когда очень влюблен, всегда стреляют в себя». («Часовня»).

Об «Олд спайс». «А я так люблю тебя теперь, что мне нет ничего милее даже вот этого запаха внутри картуза, запаха твоей головы и твоего гадкого одеколона!» («Русья»).

А в рассказе «Качели» один влюбленный персонаж якобы цитирует Данте (речь идет о Беатриче): «В глазах — начало любви, а конец — в устах».

Но самое забавное — уринотерапия. Я, чуждый всяким религиозно-знахарским методам лечения, всегда с модными нынче иронией и скепсисом (а чаще с явным сарказмом) думал о тех, кто всерьез рассуждает о питье мочи.

Беру апрельский (97 г!) номер «ОМ»'а и глазам своим не верю: В. Курицын (уважаемый мной) втюхивает пилу телегу о том, как он с женой и приятелем манипулируют мочой. 90% моего мозга нашептывает, чтобы я отнесся к данному переизложению, как к обычной мистификации, но остальные 10% заставили прочитать наставления известного шарлатана-уринолога Малахова.

Далее для сравнения:

1. СКОЛЬКО ПИТЬ.

У Малахова: желательно в первые 2 — 3 недели пить ее побольше (т. е. почти всю). Обычное питье урины: раз в день утром, три раза в день — утром натощак, второй раз — в полдень за час или через час после еды, третий — через час после ужина.

У Курицына: единственный совет — не останавливайтесь на одной чашке. Вы можете не расчувствовать вкус: постарайтесь выпить вторую, а лучше и третью. Мы с Ириной (женой) в хорошую ночь выпиваем до двух литров.

2. ЧЬЮ И КАКУЮ ПИТЬ.

У Малахова: конечно, преимущественно свою, чужую же — чаще всю в критической ситуации или когда «гастрономическая гнусность собственной превосходит все мыслимые пределы.

У Курицына: чужую мочу пить сложнее, чем собственную. Возможно, чисто психологический эффект: или ты сам выссал, или кто чужой из чужого мочеиспускательного канала. Мою мочу она (Ира, жена) пьет радостно, как и я — ее. Где-то на середине сеанса мы смешиваем наши мочи в одну и пьем коктейль.

3. ИНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

У Малахова: в ряде случаев для активизации сексуальности полезно подышать парами свежей урины от представителя другого пола или понюхать ее... Некоторым женщинам рекомендуется нюхать мочу мужчины, охваченного желанием, если они фригидны или заторможены в половом отношении.

У Курицына: можно мочиться друг на друга. Можно, очевидно, писать и в рот друг другу, чтобы не тратить время на переливание мочи в кружки. Мы, признаться, несколько раз пытались пописать друг другу в рот, но у нас ничего не вышло: очень уж смешно, хохот отвлекает от мочеиспускания.

Р. С. В предыдущем номере «ОМ»'а тот же Курицын приводит финское выражение КАЙККИ ЛОПУ, что в переводе означает «пиздец всему».

Вот именно КАЙККИ ЛОПУ!

В «Книжном обозрении» некий А. Борисов в рецензии на стихотворные творения Александра Бренера, подъебывая поэта в скудости языка, приводит синонимический ряд слова «хуй». Несколько эвфемизмов мне понравились. Например, боец невиди-

мого фронта, каменный гость, спидник, Ленин в Разливе, Луис Корвалан, боеголовка, пипа суринамская, Кастро (кастрированный?), пихалка, царь-пушка, Элтон Джон.

В названиях книг тоже можно найти ссылки на мужской половой хуй, важен лишь соответствующий угол зрения.

Предлагаю к рассмотрению следующие книги: «Пламенеющий меч» (авт. Мэгги Фьюри), «Хозяин копья» (Ричард Кнэйк), «Домашний еж» (В. Шинкарев), «Дядя Степа» (С. Михалков), «Маленький Мук» (В. Гауф), «Капитан Коко» (Лев Кузьмин), «Ундина» (В. Жуковский) «Домовенок» (И. Балинская), «Джек и бобовый стебель» (народная сказка). Хороши также: «Дерни за веревочку» (В. Рыбаков) и «Плюх и Плих» (Хармс).

На пизду намекают: «Золотая гондола» (Б. Картленд), «Триумфальная арка» (Ремарк), «Геенна огненная» (Ж. К. Гюисманс), «Зал ожидания» (Окуджава). Продолжите сами этот список.

Зернов Д. В. Давыдов В. В.

ПРО — ЗАИК

вчера
помнишь?
действительно
сделали
из сигареты культ
бесконечная по своей нежности: затянуться
выпускать
не сразу
через нос —
 в легкие —
через щелочку рта
 что-то осталось?
 это мне
 благодарю
и глубже в легкие
 и еще ниже
обвенчались колечками дыма
 есть злость —
 если щиплет глаза
не часто
 есть прощание
 но навсегда
если бессильно мять в пепельнице
 окурки
 прежней

глава

а что ты предлагаешь?
поэтически растрепаться
по ветру
вместо
прозаического секса

глава

смотрю на руки
жду, когда пальцы поднесут сигарету ко рту

слова разго-вора
об-манывают
пропускаю момент свадьбы губ и сигареты
не злюсь
невнимательность смешит
когда губы обнимают сигарету

б до слеву хочется курить
до тошноты

хотел-ось бы до

в отвори
свое
нутро

снимаю ве-ликолепные паутинки с твоего лица
ты молчишь
ты смеешься?! — пугаюсь, но
крепче
прижимаюсь к тебе
и
еще крепче

миг
сопри-частности
с тобой

г бесконечно-продолжительное время
интересно не знать
относительно какого живого существа
я живу сегодня

боль-но, когда мы не одни

д хочу
приласкать тебя
пугаешься
оглядываешься по сторонам

глава

е ты
снежная
птица

ко-роль
или
домашняя у-тварь

ж день
законченный
бритвенно

сидел рядом и курил
ругался
но не
боялся поцеловать меня
ты наивный
я зажал бритву между *голодными* губами

- з** я сам выбирал для тебя сигареты
чуть легче, чем обычно
чуть нежнее, чем всегда
нет, не курение — наслаждение сигаретой

курение
в-режим
всем, кому
хочется
тебя

- и** ненавистный
район

заблудился
в твоих
к-улочках

- к** лишь
попроси
серебром
платить
за тебя буду

так отвратительно
тобой
изне-женный

глава

знак
со-глассия
молчание

- а** снимаю великолепные паутинки с твоего лица
ты молчишь
ты смеешься?! — пугаюсь но
крепче
прижимаюсь к тебе
и
еще крепче

безнравст-венно
ласкаться

б пусть им всем кажется, что я не могу любить
это даже лучше
так надо

хорошо, я буду врать
за-являю, что всему человечеству буду врать
а то, что я люблю тебя — насрать!
извини, случайная рифма

в тела
впадинка

одежда
холодное, равно-душное отношение
ко мне

г побрили все свои тела
раздражение
покраснение от бритвы
кожа стыдится своей обнаженности

вп-адинка
тела

д между твоих ног
и тобой

родинка на твоём *penis*
похожа скорее на нос, нежели на глаз
меч-таю
пикантное
пигментное пятнышко

е раз!
и медленный переход к сексуальному влечению

глава

неук-лонно
путешествие к тебе под одеялом
шаги пальцев
от голого подбородка к обнаженному паху
не до-хожу
срываюсь на самого себя

ж чувство
принадлежащее
мне

так ми-зерна
любви моей ве-личина

глава

- з** свернуться калачиком в уголке твоего сердца
ну и что?
да, мне нужна сентиментальность
попытка тебя растрогать
- ты — *муже-подобный*
я — *муже-ложный*
в нас есть
красота
- и** проверять грамотность на «она моя»
- к** заставляющее дрочить
возбуждение
согласись, в этом есть
боль: шрамы отрицательных эмоций
- до слеву хочется курить
до тошно-ты
- а** сигарета на длинной ножке
- меня-лись*
с
тобой
- б** молчание
согласия
знак
- пре-лесть слова
- в** твои пальцы входят в меня
вот
твои глаза без ресниц
я прошу: не потеряй лицо
за безобразными тысячами других лиц
- ты смешно *наг-нул*ся
- г** изнеженный
тобой
так отвратительно
- исчезал, когда хотел
по многу часов был с другими людьми
я по-долгу сидел у зеркала
- д** приходил
ложился рядом

глава

е больно, когда мы не одни

хочу
при-ласкать
пугаешься
оглядываешься по сторо-нам

ж но ты плачешь на моей груди
это так трогательно
наивное негодование

больно?
бедный, иди ко мне
я дотронусь до тебя
возьму
поло-вину
боли

з грубое животное
по иным меркам
нежно

глава

и ты смешно нагнулся

у тво-их
слов
есть
нежные бедра

к безнравственно
ласкаться

когда ты пропа-гал
я закрывал глаза
прятался
считал
одиночество — от-которого-никуда-не-уйти

а от себя не убежишь
от себя можно спрятаться в другом человеке
в тебе

ты
смеялся над моим
эстетическим оди-ночеством

б прелесть слова

словно в пещере
над головой не небо, а нѣбо

в стремление
любить
да, без разницы что

мне
при-наглежащее
чувство

глава

у твоих
ушей
есть
нежные бедра

у твоих
глаз
есть
нежные бедра

у твоих
ладоней
есть
нежные бедра

у твоих
губ
есть
нежные бедра

у твоих
сосков
есть
нежные бедра

у твоих
рук
есть
нежные бедра

у твоих
ног
есть
нежные бедра

у твоих
ступней
есть
нежные бедра

у твоих
слов
есть
нежные бедра

ты — первочеловек
я — сделан из твоего бедра

глава

лишь
попроси
се-ребром
платить за тебя буду

г родинка на твоём *relis*
похожа скорее на нос, нежели на глаз
мечтаю
пикантное
пигментное пятнышко

приходил
лож-ился рядом

д встречи за моей спиной
что ж, я даже не против
забыть
а потом
извлечь выгоду

за-верил в преданности

е не собачья
муравьиная
преданность

но ты плачешь на моей груди
это так трога-тельно
наивное него-дование

ж больше
не делай
так

глава

з когда ты пропадал
я закрывал глаза ладошками
прятался
считал
одиночество — от-которого-никуда-не-уйти

стрем-ление
любить
да без разницы что

и одежда
холодное, равнодушное отношение
ко мне

пусть им всем кажется, что я не могу любить
это даже лучше
так на-до

к давай напишем «журнальный вариант
взаимоотношений»
и пошлем куда-нибудь
всех

что ты предлагаешь?
по-этически
рас-трепаться
по ветру
вместо
прозаического секса

а ты становился таким прелестным
когда пытался грязно ругать меня
или
сплетничать

ты
с-нежная
птица

снилось
твое
разорванное мной тело
в цветных мел-очах

глава

ненавистный
рай-он

б ты на улице
а я
возлежал

в ты увидел меня
и
обомлел

персонаж
с глазами цветом отли-чающимися
от цвета глаз моих
любовь без каких-либо персонажей любви этой

г заменить любовь к тебе — другим
 чем?
 тем, что под рукой

д заблудился
 в твоих
 кулачках

 ме-жду
 твоих
 ног
 и тобой

е и
 волосами
 щекотал
 тебя
 там

глава

ж жаждать
 тебя
 другим
 аморальным
 способом

я сам выбирал для тебя сигареты
чуть легче, чем обычно
чуть неж-нее, чем всегда
нет, не курение — наслаждение сигаретой

з иллюзия наслаждения сигаретой
 губы трубочкой
 носик пуговкой
 умиротворение

ты становился таким прелестным
когда *пытал*-ся грязно ругать меня
или
с-плетничать

жж-гать
тебя
другим
ам-оральным
способом

и ты
еще не самое плохое, что было во мне
смеюсь
издеваюсь над тобой

глава

я-зычком
коснуться
я-зычка

к все, что угодно
но «ВСЕ» — это не «Ты!»

сов-падения
хорошими
не бывают

а король
или
домашняя утварь

все, что уг-одно
но «ВСЕ» — это не «Ты!»

глава

б жертвоприношение
одежды
во имя
обнаженного — тела — любви

обычно, когда режут руки
думают
о том, кому это п-освящают
странно
я кон-центрируюсь только на себе

в ты
смеялся над моим
эстетическим одиночеством

толпа
я нена-вижу толпу
они у-носят меня

г заверил в преданности

глава

д ты — мужеподобный
я — мужеложный

в нас есть
красота

жертвопри-ношение
одежды
во имя
обнаженного — тела — любви

побрили все свои тела
раз-*гражение*
покраснение от бритвы
кожа стыдится своей обнаженности

глава

больше
не де-лай
так

е неуклонно
путешествие к тебе под одеялом
шаги пальцев
от голого подбородка к обнаженному паху
не дохожу
срываюсь на самого себя

я не со-всем такой
но, черт знает, какой я на самом деле

ж больно?
бедный, иди ко мне
я дотронусь до тебя
возьму
половину
боли

свернуться калачиком в уголке твоего сердца
ну и что?
да, мне нужна сентиментальность
по-*пытка* тебя рас-*трогать*

глава

з совпадения
хорошими
не бывают

иллюзия наслаждения сигаретой
губы трубочкой
носик пуговкой
умир-*отворение*

и тебя
хочется
всем, кому
вредит
курение

сигарета на длинной нож-ке

к смотрю на руки
жду, когда пальцы поднесут сигарету ко рту
слова разговора
обманывают
пропускаю момент свадьбы губ и сигареты
не злюсь
невнимательность смешит
когда губы обнимают сигарету

повог-ок
дыма

а менялись
с тобой

кому мой «Ты» ин-тересен

б язычком
коснуться
язычка

глава

в исчезал, когда хотел
по многу часов был с другими людьми
я подолгу сидел у зеркала

сегодня?
неужели все еще сегодня
заме-нить любовь к тебе другим
чем?
а тем, что под рукой

глава

г величина
моей
любви
так мизерна

глава

о-твори
свое
н-утро

А снилось
твое
разорванное мной тело
в цветных мелочах

грубое живот-ное
по иным меркам
нежно

не собачь-я
муравь-иная
пре-данность

е хотелось бы до

пони-маю
что

ж это было ... наверное
ложь

з и затянуться

тяжелее всего жить рядом с самим собой
тем более в одиночестве
тело сжи-мается
это причиняет боль

и тяжелее всего жить рядом с самим собой
тем более в одиночестве
тело сжимается
это причиняет боль

заставляющее дровичь
возбуждение
согласись, в этом есть
боль: шра-мы отрицательных эмоций

к я не совсем такой
но, черт знает, какой я на самом деле

твои пальцы входят в меня
вот
твои глаза без ресниц
я прошу, не потеряй лица
за безоб-разными тысячами других лиц

глава

ты
еще не самое плохое, что было во мне

смеюсь
из-деваюсь над тобой

а словно в пещере
над головой не небо, а нёбо

б понимаю
что

от себя не убежишь
от себя можно ск-рыться в другом человеке
в тебе

в персонаж
с глазами цветом отличающимися
от цвета глаз моих
любовь без каких-либо персонажей любви этой

брит-венно
закон-ченный
день

г обычно, когда режут руки
думают
о том, кому это посвящается
странно
я концентрируюсь только на себе

д миг
сопричастности
с тобой

раз!
и мед-ленный переход к сексуальному влечению

глава

давай напишем «журнальный вариант
взаимоот-ношений»
и пошлем куда-нибудь
всех

е кому мой «Ты» интересен?

это было ... наверное
ложь
и за-тянуться

один хорошо, я буду врать
заявляю, что всему человечеству буду врать
а то, что я люблю тебя — насрать!
извини, случайная рифма

Сегодня?
Неужели все еще сегодня?
Помнишь?

ты на улице
а я
возле-жал

ты увидел меня
и
обо-млея

Завтра ты вернулся
И мы расставляли на полу фарфоровых слоников
нашего быта

Как это нео-бычно

8 апреля 1997

В. Мордерер, Г. Амелин

О ЗОДИАКАЛЬНОЙ СЕМИОТИКЕ РАННЕГО ПАСТЕРНАКА

Es war ein schöner Abend. Die Nacht jagte
auf ihrem schwarzen Rosse, und die langen
Mähnen flattern im Winde.

Н. Heine. «Die Harzreise»

О сестры, о нежные десять,
Две ласково дружных семьи,
Вас пологом ночи завесить
Так рады желанья мои.

Иннокентий Анненский

Ноги, как дни и ночь суток, меняют
свое положение.

В. Хлебников. «Простая повесть»

Стоит прислушаться и даже понять буквально позднейший отзыв Пастернака о своей первой книге: «Книга называлась до глупости притязательно „Близнец в тучах“, из подражания космологическим мудреностям, которыми отличались книжные заглавия символистов и названия их издательств» (I, 727)¹. Прежде всего — это журнал «Весы» и издательство «Скорпион». Но пастернаковскому «Близнецу» не суждено было затеряться в зодиакальном кругу символистской литературы. Зодиакальная символика, откровенно встроенная в первый сборник, позднее сильно смущала поэта своим нарочитым схематизмом и очевидностью. И напрасно, ибо осталась закрытой и совершенно непрочитанной. Для понимания этой двоящейся, парной, близнецной образности и ее места в зодиакальной семиотике Пастернака, удобнее начать не с самого «Близнеца в тучах», а со стихотворения «Сумерки... словно оруженосцы роз...», напечатанного в сборнике «Лирика» (1913). Собственно, в этом стихотворении в сконцентрированном виде существует все то, что будет развиваться в двадцати одном стихотворении «Близнеца в тучах».

Константин Локс, друг Пастернака с университетских лет, в своей мемуарной «Повести об одном десятилетии (1907—1917)» подробно рассказал о своем понимании этого текста. Приведем его разбор полностью, так как, во-первых, он красив, во-вторых — бросает вызов, в-третьих, приводит все стихотворение:

«Не знаю, сразу ли доступен читателю глубоко скрытый эротический смысл этого стихотворения, раскрывающийся в двух

последних строфах. Приступ к эротической теме дается в первых двух строфах, сразу поражающих смещением, очень смелым и необычным, смысла слова „сумерки“, обозначающим неясный наплыв эротической темы:

Сумерки... словно оруженосцы роз,
На которых — их копыя и шарфы.
Или сумерки — их менестрель, что врос
Плечами в печаль свою — в арфу.

Мужской образ оруженосцев и менестреля дается в отождествлении с сумерками — ключом необычного отождествления является слово „печаль“. Неясной, но понятной как эротическая неуверенность, звучит вторая строфа:

Сумерки — оруженосцы роз —
Повторят путей их извивы
И, чуть опоздав, отклонят откос
За рыцарскую альмавивой.

Ключом к этой строфе являются слова — „извивы“, „откос“, „опоздав“. Эти слова знаменуют эротическую неуверенность и естественно связываются со словом „печаль“ первой строфы. С третьей строфы тема начинает приобретать более ясный характер в, казалось бы, ничем не оправданном, но ясном переходе к образу „двух иноходцев“:

Двух иноходцев сменный черед,
На одном только вечер рьяней.
Тот и другой. Их соберет
Ночь в свои тусклые ткани.

Эротическая неуверенность подчеркивается словом „иноходец“. „На одном только вечер рьяней“ — обозначает страсть, явно выраженную у одного и, очевидно, менее сильную у другого — другой.

Слово „тусклый“ связывается с „печалью“, „извивами“, „откосом“. Четвертая строфа разрешает тему до полной ясности:

Тот и другой. Топчут полынь.
Вспышки копыт порыжелых.
Глубже во мглу. Тушит полынь
Сердцебиение тел их.

Эротическая неуверенность или неудача определяется словом „полынь“, ее „топчут“, и она „тушит“. Необычное „вспышка копыт“ символизирует страсть, достигающую кульминации в словах „глубже во тьму“, неудача — в словах „тушит полынь сердцебиение тел их“.

Таким образом, для выражения длительной и неудачной любви-страсти понадобилось совершенно необычное по своей образной структуре стихотворение. Никто не может разгадать пути воображения, может быть, неясного самому поэту, но характер-

ного для него, — простое и обычное в человеческой жизни подано им в столь далекой и замаскированной форме. С этим стихотворением я производил эксперименты, давая читать его моим друзьям и требуя от них объяснения его смысла. Некоторые верно определяли стихотворение как эротическое, но не умели его проанализировать, другие просто восхищались им, как системой необычных образов, приведенных во внутренне и внешне музыкальное единство. Тем, кто не согласен с моим толкованием, я предлагаю дать другое и уверен, что оно невозможно»².

Ну, что ж, попробуем.

Тема и вариации, и одна из вариаций, действительно, эротическая. Но какова тема? Что означают эти сумерки, чьи зори-розы несут рыцари-оруженосцы с перистыми шлейфами-шарфами и острыми лучезарными бликами копий?

Сумерки, как им и полагается, красного цвета: «оруженосцы» (а потом и «порыжелые») от франц. rouge — «красный». Сменный черед таинственных иноходцев — черед утренней и вечерней зорь, заката и восхода («одна заря сменить другую спешит...»). Так, например, в «Докторе Живаго»: «И опять он спал, и просыпался, и обнаруживал, что окна в снежной сетке инеем налиты розовым жаром зари, которая рдеет в них, как красное вино, разлитое по хрустальным бокалам. И он не знал и спрашивал себя, какая это заря, утренняя или вечерняя?» (III, 389).

Ночь, облачая их в свои «тусклые ткани», одновременно объединяет и разъединяет их. Закат рьянее, веселее восхода. Сумеречные розы сразу вводят образ коня, нем. Ross — «конь». Именно поэтому мандельштамовский возница из «Фазтонщика» «словно розу или жабу <...> берег свое лицо»³.

Параллельно с темой сумерек, востока и запада, рассвета и заката, влетаясь в нее, сосуществуя, развивается мифологическая тема Диоскуров. Укротители коней, близнецы Кастор и Полидевк (Поллукс) «попеременно в виде утренней и вечерней звезды в созвездии Близнецов являются на небе. <...> В мифах о Диоскурах заметны мотивы периодической смены жизни и смерти, света и мрака — поочередное пребывание в царстве мертвых и на Олимпе»⁴. «Нагоняющие, обгоняющие друг друга, идущие рядом и расходящиеся... Двоящиеся, скрещивающиеся, пересекающие друг друга...» — это о берлинских огнях и, конечно, о близнецных звездах. Таким образом, соперничающая иноходь оруженосцев роз — вариант близнецного мифа. Неожиданное превращение сумерек в менестреля также объяснимо:

Или сумерки — их менестрель, что врос
Плечами в печаль свою — в арфу.

Менестрель, воспевший Диоскуров в «Метаморфозах», — Овидий, автор «печали» — Tristia.

Паразитально, что Константин Локс не услышал в стихотворении «Сумерки...» столь явственно звучащей темы Диоскуров, из которой, как из яйца Леды, родился «Близнец в тучах» (сами

Кастор и Поллукс были рождены именно так). Поллукс — «стертая анаграмма» (на языке сборника «Близнец в тучах») самого имени «Локс», которому посвящено стихотворение «Близнец на корме».

¹ Здесь и далее все цитаты из Пастернака лишь с указанием тома и страницы даются по изданию: Борис Пастернак. Собрание сочинений в пяти томах. М., 1989—1992.

² Константин Локс. Повесть об одном десятилетии (1907—1917). — «Минувшее. Исторический альманах», № 15. М.—СПб., 1994, с. 78 — 80.

³ Осип Манделъштам. Сочинения в двух томах. М., 1990, т. I, с. 183. Ср. в раннем, но опубликованном только в 1940 году, четверостишии Хлебникова:

Сутконогих табун кобылиц
Прозвенели, промчались полями.
Времяшерстны их тела,
Днями пышут взоры глаз.

(Велимир Хлебников. Незданные произведения. М., 1940, с. 119).

⁴ Мифы народов мира. М., 1991, т. I, с. 383.

ОЧЕРКИ О ПРОСТРАНСТВАХ

Алексей Пурин

ДОМИК В СААРДАМЕ

Государь сказал Пушкину: «Мне бы хотелось, чтобы король нидерландский отдал мне домик Петра Великого в Саардаме». — В таком случае, — подхватил Пушкин, — попрошусь у вашего величества туда в дворники.

Разговоры Пушкина. М., 1929, с. 224.

1

«Голландия есть плоская страна», —
сказал один. «Голландия скучна», —
сказал другой... Фасады вдоль причала
качались, что кораблики в порту,
двоясь... За теснотой высоту
широкая душа не примечала...

Глотни пивка и выкури гашиш —
и ощутишь, от погребов до крыш,
всю лютость мореходной вертикали:
не дом, а гроб для рослого Петра...
Когда б трудолюбивые ветра
из шлюза в шлюз еще перетекали!

И мнится: добродетели петит
вот-вот на крыльях мельниц улетит,
под шпильями соборов отобедав,
помахивая карточками вин...
Хотел бы знать, что б вымолвил Кальвин,
увидев миллион велосипедов!

Гляди: страна, плывущая, как флот,
от собственной телесности, оплот
бесцельности, церковный лупанарий,
к Дню Судному готова... но пока,
беря тебя в прищур ростовщика,
смирненно указывает на денарий.

2

Denn, Herr, die grossen Städte sind...

Rilke

Дома, которым лет семьсот,
теснясь, толпятся вокруг собора.
О чем гудящая Дебора
пророчествует сонму сот?

О чем шмели-колокола
трезвонят над кирпичной кручей —
здесь, где скудельный храм паучий
сеть цепких улиц оплела?

О том, что эти города —
лишь гнева вышнего мишени,
что не дождутся утешений
от Утешителя?.. О, да! —

горька религия вины,
чья обезличена обитель...
Скорее слушатель, чем зритель,
выходишь в шум из тишины:

Макдональд крутит карусель
в чаду греха, гашиша, мака...
Смешна шенгенская бумага —
всех скоро выдворят отсель!

3

Широкой натурой бахвалься, —
а всё ж на тебя неспроста
поддатые бургеры Хальса
насмешливо смотрят с холста.
Сравни, если хочешь, с отарой
овец многолицый портрет, —
но всё же Голландии старой
таит он волшебный секрет:
блаженны поевшие плотно,
и ближние пьяным милей...
Пропитаны пивом полотна —
хоть выжми и в кружку налей.
Тут клонит довольство к участию,
неравенство здесь не пестро,
и мнится: притронуться к счастью
легко, словно к рюмке в бистро.

4

Рене Путаару

Литература — авантюра,
и лучше ею жизнь не трожь...
Но этот мальчик на Артюра
Рембо был здорово похож.

И мне хотелось стать Верленом...
Увы, слова, слова, слова!
Был лишь енейвер по колено
нам, понимающим едва

чужие речи... Вместо драки,
пальбы и снов на чердаке,
плясала девочка во мраке
с колечком маленьким в пупке —

Вермер, не более, картина,
одна иллюзия огня!..
Каналов темных паутина
влекла, опасная, меня...

И вот я жду теперь, когда же
он в грудь мне — sans paroles, без слов —
пальнет, приехав, из лепажа,
как должно пасынкам послов?

5

Хансу Болангу

Нет, рана не была смертельной:
Бог взял голландского посла,
а дуэлянтов в жар постельный
волна злословья унесла.

(Давай кровавую разборку
переиграем в пять минут —
и новый мир, по Сведенборгу,
для Пушкина построим тут.)

Я вижу домик в Саардаме:
кровать, курящийся кальян
и нечто сказочное в раме —
о да, горячий Тициан! —

там зеркало для перламутра,
что с морионом заодно...

И, с петухами, входит утро
немой молочницей в окно.

Денек, как в Петербурге, хмурый —
и нет причины отплати
гнедую прядь от белокурой...
Он жив и счастлив! Не грусти.

6

Не холст — волшебное окошко
в тот мир, где сказочно легко.
Что зачарованная кошка,
смотрю на это молоко.

Зрачок расширен, разум сужен,
дух отдыхает от пелен, —
как будто лучшей из жемчужин
я, вместо мозга, наделен.

А рай, внедренный в короб полый,
похож на тот слепящий зной,
когда ты мой, когда ты, голый,
во тьме целуешься со мной.

1997

Игорь Померанцев

КРАТКИЙ РАЗГОВОРНИК ДЛЯ ПРИЕЗЖИХ

Драматические сцены

Действующие лица:

Приезжие (одеты в одинаковую одежду)
Местное население

СЦЕНА I

(Откуда? Куда? Где? Кто?)

Откуда вы идете?
Куда вы идете?
Где вокзал?
Где ближайшая дорога в Н.?
Какую ширину имеет тот мост?
Какую высоту имеет колокольня?
Где ваш авангард?
По какому направлению ходят русские патрули?
Где ваша кавалерия наездничает?
Где ваша артиллерия?
Сколько пушек у нее?
Где ваши провиантские колонны?
Занят ли лес войсками?
Какого рода они и сколько их?
У опушки или в чаще?
Как далеко есть город?
Укреплён ли город?
Поставлены ли баррикады на улицах?
Стоят ли войска на биваках?
Где дом лесничего?
Болотна ли местность?
Где ближайшая и лучшая дорога
через реку? в горсовет? на почту? к священнику?
Видели ли вы русские патрули?
русских велосипедистов?
русские форпосты?
Аэростат???

Дезертир ли вы?
От какого армейского корпуса?
От какой дивизии?
От какой бригады?
Где и когда вы оставили свой отряд?
Куда направлялся ваш полк?
Были ли у него большие убыли и в какой битве?
Парламентер ли вы?
Где ваш парламентерский флаг?
Кто вас уполномочил?
Я велю вас вести с конвоем к полковнику!
Глаза у вас должны быть завязаны!
Вы шпион?
Не лгите или вас застрелят!
Какое у вас звание?
Разувайтесь!
Раздевайтесь!
Опорожняйте все карманы!
Разрежьте пиджачную подкладку!
Разрежьте шляпную подкладку!
Есть ли у вас с собою письма или документы?
Где вокзал?
Позовите начальника станции!
Спрятали ли вы оружие, съестные или огнестрельные припасы?
Передайте мне ваши акты и станционный регламент!
Передайте мне кассовую книгу и станционную кассу!
Где ключ от шкафа для актов?
Где ваш станционный телеграф?
Я секвеструю его!
Позовите всех служащих сюда!
Есть ли у вас подземные телеграфные кабели?

СЦЕНА II

(Квартирование. У председателя горсовета)

Я квартирьер!
Я готовлю квартиру для десяти офицеров, ста человек
и двадцати лошадей!
Деньги за квартиру будут заплачены позже!
Вам следует принять на постой тысячу человек!
Мне нужна конюшенная квартира для тысячи лошадей!
Запишите мне адреса самых знатных людей этого города!
Где милицейский комиссариат?
Оглашайте мои приказы под барабанный бой!
Как зовут председателя горсовета?
Идите со мною к председателю горсовета!
Вы председатель горсовета?
Сколько домов в вашем городе?

Имеются ли казармы?
Имеются ли большие госпитали?
На сколько коек?
Я секвеструю городскую кассу!
Я арестую вас как заложника!
Свирепствуют ли заразные болезни?
Вы — хозяин дома?
Я поставлен к вам на постой.
Постой продлится пять дней.
После на постой придут три других человека.
Мы осмотрим теперь все комнаты.
Дайте мне ключи от дома, комнаты и конюшни!
Есть ли у вас оружие?
Есть или нет?
Дом и ночью должен оставаться открытым!
Окна ночью должны быть освещены!
Постельное белье не чисто!
Никому не позволено заходить в мою комнату!
Наполните эту манерку кофеем!
Дайте мне умывальный таз!
Теплой воды!
Холодной воды!
Полотенце!
Где нужник?
Я имею право каждый день требовать
тысячу граммов картофеля
тысячу граммов хлеба
пятьсот граммов мяса
двести граммов зелени
Все должно быть хорошо приготовлено!
Дайте мне нож и вилку!
Дайте мне чаю и рому!
Мне хочется есть!
Мне хочется пить!
Топите очаг!
Не отговаривайтесь!
Я выдам вам расписку в получении!
Если вы не будете повиноваться, то будут арестовать вас!
Картофель должно уложить в мешки!
Масло прогоркло!
Мне нужна тысяча килограммов бобов!
Чечевица отсырела!

СЦЕНА III

(Франтиреры. Плен. Ранение)

Есть ли здесь франтиреры?
Село уничтожается, если в нем франтиреры!

Село щадится, если оно оказывается услужливым!
 Дома, из которых стреляют франтиреры, сожгутся!
 Вы отвечаете за это своею головой!
 Я велю застрелить вас и уничтожить село!
 Смирно!
 Нале-во!
 Напра-во!
 Кру-гом!
 Во фронт!
 Батальон марш!
 Стой!
 Тихим шагом!
 Направо сомкнись!
 Воспрещается

тихо говорить
 громко говорить
 оставлять ряды!

Под угрозой смертной казни запрещено
 всякое упорство
 всякий бунт

Теперь вам можно курить.
 Я ранен!

в левую руку
 в правую руку
 в голову
 в шею
 в задницу
 в брюхо

Я болен!
 У меня понос!
 У меня кровавый понос!
 У меня колика!
 У меня садно!
 Я осадил себе ляжку от верховой езды!
 Дайте мне

опий от поноса
 пилюли от запора
 компрессы
 бандажи
 муслин
 хлороформ
 балдырьянную тинктуру
 уксуснокислый глинозем
 перевязочную вату
 английский пластырь
 каучуковый пластырь

Перевяжите мою рану!

Конец

MIT BLUMEN AUCH SCHÖN

Драма в одном действии

Действующие лица:

ЭРНЕСТ (за тридцать)

ЭДУАРД (под пятьдесят)

ВИКТОР (около тридцати)

АЛЕКСАНДРА (чуть старше двадцати; говорит с акцентом)

ЛЕСИК (мальчик девяти лет; говорит с легким акцентом)

Гостиная. Дверь, ведущая в кухню, открыта. Другая дверь, по-видимому в коридор, закрыта. Мебель вполне пристойная, но на всем лежит печать холостяцтва. Книжный шкаф. Комод. Диван. Тумбочка. Телефон. Стол и два стула. Еще один стул в углу. Там же деревянная детская лошадь. Стереоустановка. За столом сидит Эдуард. Лицо его заслоняет газета «Интернейшнл Геральд Трибюн». Окно прикрыто металлическими жалюзи. Но, судя по электрическому освещению, уже вечер. В комнату входит Эрнест. Он одет по-домашнему. На ногах тапочки. Щурится на свет. Идет в кухню. Оттуда слышен его голос:

ЭРНЕСТ. Насилу уложил... Тебе какое, местное или баварское?

ЭДУАРД (*сворачивает газету*). Дай подумать... Вроде не душно... Спешить некуда... Пить можно медленно... для души... Баварское! Оно душистей... хлебом пахнет... кисловатым... как наш.

ЭРНЕСТ (*слышно, как он открывает холодильник. Появляется с четырьмя бутылками. Две ставит перед Эдуардом, две — перед собой. Садится поудобней. Откупоривает. Пьет из горлышка*). Да, три года уже... Как корова языком... Но самое ужасное — первый вечер... в пансионе... где-то у черта на куличках... Портые в майке... челочка косая... затылок стриженный и... грудастая... то ли баба, то ли мужик, гермафродит какой-то... свет в коридоре только включишь, а он сразу гаснет, — я думал, контакт никудышный... а это экономия... у нас так не жадничают... даже в лагере. (*Оба пьют.*) Лесик брезговал лечь... простыни блеклые, с ржавыми крапинками... но так намаялся, что свалился... Глаза слипаются, а сам бормочет — никогда не забуду — «Папа... это страна уродов... и воняет так». Чем, спрашиваю. — «Смертью...»

ЭДУАРД (*смеется*). В шесть лет мы все поэты... Если со стороны посмотреть... А что он, интересно, имел в виду?.. Запах пансиона?.. Или простыни? (*Звонит телефон. Эрнест встает из-за стола. Задевает бутылку. Она падает, но он тотчас ее подхватывает. Чертыхаясь, подходит к телефону и снимает трубку.*)

ЭРНЕСТ. Да... Да... Ты что, дома еще?.. Ждем... Не поздно... Самый раз... Да нет, можешь привести... Пусть себе сидит истуканом... Что ж нам, из-за нее на их тарабарщину переходить? В

кои веки собираемся... А, ну другое дело... Даже пикантно... Давай... с ветерком... будь! (*Кладет трубку. Возвращается к столу.*) Едет... С новой зазнобой...

ЭДУАРД. Опять новая?

ЭРНЕСТ. Да, туземка. Аспирантка Института этнографии... Наш регион изучает.

ЭДУАРД. О Боже! Это ж какой дурой надо быть! (*Пьет пиво.*) Изучала бы лучше папуасов... Здесь ими восхищаются... (*С сарказмом.*) Естественная, органическая жизнь, не то что у европейцев... У меня позывы к рвоте, когда все это слышу... Или русских... Сверхдержавы всегда в моде... (*Саркастически*) Что вы думаете о новом советском руководителе? (*Оба смеются.*)

ЭРНЕСТ (*отпивает несколько глотков. Возвращается к прерванному разговору*). Помоев, наверно. Мы в пансион с черного хода зашли... где столовка... а там баки сливные с какой-то скисшей бурдой... Таким смрадом шибануло...

ЭДУАРД. Ну, не скажи... Это как раз запах жизни. (*Пьет пиво.*) Вот когда запаха вовсе нет... Вдыхаешь, тужишься, ноздри раздуваешь — и ничего, хоть бы дерьмом откуда потянуло... Во, вот это — смерть.

ЭРНЕСТ. А я все время запах чую... Слабенького кисловатого пота. Не так, чтоб с ног валило... не тяжелого, трудового, знаешь, настоящего... так что не подступишься без противогаса... а хилого... как у сердечников бывает... или диабетиков... (*Откупоривает вторую бутылку.*)

ЭДУАРД. Я как вижу цветок какой или дерево цветущее, подхожу и нюхаю, нюхаю... и хоть бы хны... Стерильные здесь цветы... а если долго и жадно нюхать, голова кругом идет... Дурешь, как наркоман... а кайфа никакого...

ЭРНЕСТ. А я тебе наводку дам. В первый год я ведь чуть не каждый день в бюро по найму ходил, знаешь?... За ратушей... Там приемная... ну, как у меня кухня... вот... (*Вытягивает руки перед собой.*) Рук не вытянешь... Так туда всякие отбросы, вроде меня, набивались... И почти сплошь турки. Клерк, наверно, думал, что я с приветом... Посobie-то мне платили, а отмечаться положено раз в месяц... А я что ни день — в бюро. Из-за турок... Они так... приятно пахли. Ну, как у нас на юге где-нибудь, на базаре. (*Пьет пиво.*) И вот еще. В парке, когда скамейки красят. Подстелишь газету... потом сядешь, глаза закроешь и вдыхаешь... Запах точь-в-точь как от парт в первый день учебного года... Учительский стол цветами завален, пионами, астрами... и запах свежеразкрашенных парт... Вот это кайф... Не то что... (*Презрительно смотрит на бутылку, делает жест, словно собирается смахнуть ее со стола. Передумывает и отпивает несколько глотков.*)

ЭДУАРД. А ты заметил, что здесь скамейки разделены чугунными подлокотниками? Вроде вместе сидишь и в то же время отдельно... Каждый за себя... Избегать контактов... Ну, а если с девушкой, тогда как?

ЭРНЕСТ. Знаешь... в нашем возрасте...

ЭДУАРД. Дело же не в возрасте... Дело в девушках... У тебя, может, иначе все... Тебя там жена бросила, пока ты ящички в лагере сколачивал... Так ты на них всех в обиде... А я пробовал. Я же хотел новую... совсем другую жизнь начать. Старый дурак. Думал, что жизнь может быть новой или другой. Думал, страна другая... Даже сошелся с одной... Но это же... сплошной секс... и никакой... ну... Ты понимаешь? Просто тело трется о тело — и баста... А когда порознь, ну, на расстоянии, то ничего... и воздух между вами не колышетя, не пульсирует... а в постели... как опытная настройщица... настроит... и... А в конце еще спросит: «Все в порядке?» *(Делает несколько глотков.)*

ЭРНЕСТ. И чем все кончилось? Бросила тебя?

ЭДУАРД. Если бы... Верная была, как собака. Аж противно. Хоть палкой гони. Пришлось придумать, что, мол, жене дали выездную визу и что она ко мне приезжает, хочет сойтись, и подло бросить ее одну-одинешеньку на чужбине... Подействовало. *(Звонок в дверь. Эрнест встает и выходит. Эдуард допивает вторую бутылку. В гостиную доносится гул голосов. Входят Эрнест, Виктор и Александра. Эдуард встает, задевая столик, так что ему приходится придерживать рукой бутылки. Все улыбаются.)*

ВИКТОР. Вот, познакомьтесь. Это Александра. *(Эрнест и Эдуарджимают ей руку.)* А это Эрнест... Эдуард.. Только неделю как из наших краев. *(Смотрит на Александру. Она улыбается. Эрнест придвигает к столу еще один стул. Жестом предлагает сесть. Виктор садится к столу, а Александра на край дивана. Эрнест выходит в кухню. Слышно, как он открывает холодильник. Приносит четыре бутылки пива и одну кружку для Александры. Откупоривает. Садится. Делает несколько глотков.)*

ЭРНЕСТ *(обращаясь к Александре)*. Ну и как съездили? Не жалеете?

АЛЕКСАНДРА. Я ведь в командировке там была... В Государственной библиотеке. Материалы собирала... У меня диссертация такая: «Упадок Центральной Европы в эпоху Ренессанса». *(Все смеются.)*

ЭДУАРД. Ну, зато теперь у нас там ренессанс... а у вас упадок. *(Смеются.)*

ВИКТОР *(обращаясь к Эрнесту)*. Да, а поздравить забыли! *(Хлопает Эрнеста через стол по плечу.)* Ну, показывай. *(Эрнест встает из-за стола. Направляется к тумбочке возле дивана. Достает из ящика две синие книжечки. Одну протягивает Александре, другую Виктору.)*

ВИКТОР *(листаю)*. Ну, теперь ты человек... Синенький, двухполосый... *(Читает)* Titre de voyage... Travel Document... Reiseausweis. Женевская конвенция от 28 июля 1951 года... настоящий документ выдан вместо паспорта... с тем, чтобы предоставить возможность подателю сего документа путешествовать за границу... Но самое главное... *(Листает.)* Вот здесь... на седьмой странице... Въездная виза не нужна для посещения следующих стран: Бельгия, Дания... Люксембург *(Все, кроме Александры, иронически смеются)*... Соединенное Королевство... Англия! Да

там же не люди... а... водоросли... Народы, которым за тыщу, возвращаются к тому, с чего начали... Посмотрите-ка на евреев! Это же птицы! Кар-кар!.. А шведы? Я не палеонтолог, но если вы меня ночью разбудите и спросите, где живут динозавры, я без запинки выпалю: в Швеции... Но англичане... Это даже не животные... это водоросли... с цепкой памятью... на прошлое, и никакого настоящего... Неделю кряду смотрел в гостинице новости... в Лондоне... Хотел понять, что же для них значит «новость»... Двадцать пять минут о себе... но всегда одно и то же: собака спасает тонущего ребенка — или наоборот... забастовка дворников... хоть у них там дождь да ветер за дворника... И погода! На десерт. Прямо вся нация кончает, когда прогноз погоды... Это же для водорослей самое важное... И пять минут об острове в Индийском океане... новости из-за рубежа... только об этом острове, потому что когда-то он был их колонией... и теперь одно упоминание как глоток джина... Остров-наркотик... *(Делает несколько глотков.)* ...Воспоминание о бицепсах... об империи, от которой... клубок водорослей... *(Обращается к Александру уже дружим тоном.)* И как там... *(иронически)* на родине?

АЛЕКСАНДРА. С чиновниками трудно. В библиотеке все в спецфондах да в спецхранах... а туда допуск особый нужен... мне обещали-обещали... так и не дождалась... визу не продлили... Ну, а люди как люди... Даже живее, сердечнее, чем у нас или в России. В гости приглашали... в ресторан... У вас рестораны не то что здесь... все танцуют, веселятся...

ЭРНЕСТ. А что танцуют?

АЛЕКСАНДРА. Сейчас в моде вот это танго... *(Напевает. Эрнест встает. Идет к стереоустановке. Включает кассету. Звучит танго.)* Да, да, вот это.

(Виктор встает и церемонно приглашает Александру. Они танцуют. Потом садятся. Александра листает дорожный документ. Виктор тоже раскрывает документ и продолжает читать вслух.)

ВИКТОР. Нидерланды... Республика Ирландия... Федеративная Республика Германия...

АЛЕКСАНДРА *(обращаясь к Эдуарду)*. А в Западной Германии бывали? Там, особенно в Баварии, почти как у вас... даже запах навоза в деревне... и во всем... в культуре... могут быть увидены аграрные корни.

ЭДУАРД. Вроде и был... и не был... Как-то собрался с силами... купил билет и полетел в Мюнхен... Люфтваганза... Перекусить дали. Ну, такая же тошиловка, как на всех самолетах. После — кофе. Высыпал в чашку пакетик сахара... Чашка пластмассовая... Размешал... *(Пьет пиво.)* Не сладко. Попросил у стюардессы еще немного «цукеру». Размешал. Не сладко. Всыпал еще два пакетика. Размешал. Энергично. Мали ли что. Никакого эффекта... Вот такой у них «цукер»... А все пили и причмокивали... За мной две фрау сидели. Рта не сомкнули... А голоса пронзительные, звонкие. Пока не прислушивался, еще кое-как выносил. И вдруг как полоснет по ушам: «Mit Blumen auch schön!» Ничего мерзее в

жизни не слышал... Забился в клозет. А как приземлились, прямо в аэропорту купил билет назад. Так что в общей сложности в Германии провел с полетом на Люфтганзе — часа четыре... Думаю, даже многовато. На всю жизнь хватит.

(Пауза)

ЭРНЕСТ. Что же вы, Александра, не пьете?

АЛЕКСАНДРА. Я, простите, пива не пью... Вот вино — охотно...

ВИКТОР (*обращается ко всем сразу*). Я смотаюсь. Мигом вернусь... У меня же машина. (*Александр*) Красное или белое?

АЛЕКСАНДРА. Может, не надо?.. (*Виктор уходит. Слышно, как он заводит мотор за окном. Александра листает дорожный документ.*) А это... ваш сын? (*Эрнест утвердительно машет головой.*) Какой симпатичный мальчуган... Или надо сказать «мальчуган»?

ЭРНЕСТ (*переглядываясь с Эдуардом*). Без разницы. Мы пойдем.

АЛЕКСАНДРА. Виктор говорил, вы здесь не так давно... Прижились? Работаете? Служите?

ЭРНЕСТ. Понемногу... (*Отпивает несколько глотков.*) Работаю... На метеостанции... Я ведь по специальности учитель географии. Но меня здесь к школе на пушечный выстрел не допускают. Такой у вас закон: бывшие заключенные не имеют права учить детей... И никаких оговорок или исключений... скажем, для политзаключенных... а про эмигрантов не подумали...

АЛЕКСАНДРА. Ага, так по вашей милости в Парламенте будет обсуждаться этот параграф Конституции? Я читала...

ЭРНЕСТ (*перебивает*). А что ж мне, сложа руки сидеть?.. Обратился к своему депутату... Он в восторге... Новыми глазами, сказал, Конституцию увидел...

(*Александра снова рассматривает дорожный документ.
Читает вслух.*)

АЛЕКСАНДРА. Швеция... Швейцария...

ЭДУАРД (*перебивает*). Чемпионка мира по напору душа... Там же вода с гор падает... И говорят только шепотом... Чтоб снежной лавины не накликать... Если вообще говорят.

ЭРНЕСТ (*выходит в кухню. Принесит две бутылки пива. Откупоривает. Пьет.*). А в Испанию и Португалию, получается, виза нужна?

ЭДУАРД. Нет. (*Пьет.*) Они позже Конвенцию подписали, так что их еще не внесли... А на кой тебе Португалия?.. Это же... низкорослость.

АЛЕКСАНДРА. Приземистость?

ЭДУАРД. Низкорослость. Во всем. Даром, что чувствуешь себя великаном. Низкорослые люди, все, даже баскетболисты... Хибарки, церкви — карлицы, апельсиновые деревья... Рыбешки... под стать. На низкорослых кривых улицах под низкорослым палящим солнцем у низкорослых печурок сидят низкорослые уро-

цы и жарят низкорослые сардинки... Только соль крупная, кристаллическая, в человеческую голову. Рыбешек солят густо, так что сон ночью не берет: все время пьешь... ржавую акву.

АЛЕКСАНДРА. А... океан? Или тоже приземистый?

ЭДУАРД (*глотает несколько глотков*). Безбрежный. Огромный. Ничей... И на берегу сидит, свесив в воду маленькие кривые ножки, низкорослый народец.

АЛЕКСАНДРА. И ничего позитивного, для баланса?

ЭДУАРД. Белье стираное быстро сохнет... Солнце ведь низко.

АЛЕКСАНДРА (*обращаясь к Эрнесту*). А вы как? Подружились с кем-нибудь из наших... местных? У нас ведь даже турки приживаются...

(Эрнест и Эдуард переглядываются. Улыбаются.)

ЭРНЕСТ. Спасибо туркам. Без них мы были бы «низший сорт»... Главный удар они приняли... А к нам здесь скорее... ну, не презрение... как к туркам... а недоумение.

АЛЕКСАНДРА. А что вы сами испытываете?

ЭРНЕСТ (*отпивает несколько глотков*). Да меня трясет, как услышу: «Откуда вы?» Все наперед знаю. Сперва переспросят: «Из Словакии?» Еще раз скажу. «А, из Словении?» Это уже зрудиты. Да нет, говорю, из Мусульмании. И хоть бы один сказал: «Брешешь! Нет такой страны!» Такие терпимые, что вполне допускают неведомую им страну в центре Европы — «Мусульманию».

АЛЕКСАНДРА. А я думала, вы только русских не любите...

ЭРНЕСТ. За эту свою нелюбовь я три года до звонка оттянул. Уже здесь понял: русские, без балды, наши братья, и в этом Вождь прав! Ну, как Каин и Авель. «И был Авель пастырь овец; а Каин был земледелец». Понимаете, земледелец, а не... агент по продаже недвижимого имущества... И хлеб они вместе ели, и вино пили! (*Пьет пиво*.) И убил он его, потому что человеком считал... и сам человеком был!

АЛЕКСАНДРА. Так мы, получается, хуже Каина?

ЭРНЕСТ. Я что хочу сказать... Вы — не люди... Только, пожалуйста, не надо монолог Шейлока читать... Конечно, с виду люди... Но только с виду... А на самом деле, вы — фантасты здесь маху дали — и есть инопланетяне!

АЛЕКСАНДРА. И с какой же мы планеты?

ЭРНЕСТ. Да назовите ее хоть «Ино».

АЛЕКСАНДРА. Ладно, допустим. И что ж с того?

ЭРНЕСТ. А то, что человеческие оценки, критерии к вам неприложимы. Ну, грубо говоря, вас не стыдно... убить!

АЛЕКСАНДРА. И вы можете это сделать?

ЭРНЕСТ. Что?

АЛЕКСАНДРА. Ну, то, что вы сказали.

ЭРНЕСТ. Что?

АЛЕКСАНДРА. Вы сказали: «Вас не стыдно убить».

ЭРНЕСТ. Да... Не стыдно.

АЛЕКСАНДРА. Сказать или сделать?

ЭРНЕСТ. Сказать значит сделать.

АЛЕКСАНДРА. Так за чем же остановка?

(Эрнест встает из-за стола. Подходит вплотную к Александре. Осматривает со всех сторон. Подымает ее волосы к затылку, словно примеряется стричь. Распускает. Расстегивает верхнюю пуговичку блузки. Сощуриив глаз, указательным пальцем тычет в левую грудь. Отходит.)

ЭРНЕСТ. Это, конечно, проще простого... Но нельзя же быть таким эгоистом... Вы ведь после ничего не почувствуете. И даже в тот момент.

АЛЕКСАНДРА. Что вам до чувств инопланетянки? По-вашему, у меня и чувств нет.

ЭРНЕСТ. На чувства ваши мне и впрямь наплевать... Но контакт с биологически иным существом даже любопытен.

(Эрнест подходит к комоду. Выдвигает ящик. Достает ножницы.)

АЛЕКСАНДРА *(теряет равновесие)*. А это еще зачем?

ЭРНЕСТ. Спокойно. Сейчас увидите. Точнее, почувствуете.

(Эдуард резко встает из-за стола. Придерживает рукой пошатнувшиеся бутылки. Вместе с Эрнестом подходит к Александре. Оба словно примеряются. Александра переводит взгляд с одного на другого. В руке у Эрнеста по-прежнему ножницы. Эдуард крепко хватает Александру за руки и выворачивает их за спину. Эрнест, левой рукой сжав кисть Александры, правой начинает стричь ей ногти. Она издает пронзительный вопль и смолкает. В тишине слышно, как Эрнест, сопя, стрижет ей ногти. Внезапно открывается дверь и появляется мальчик лет девяти. Он в пижаме. Щурится на свет. Эрнест, Эдуард и Александра замирают.)

ЛЕСИК. Папа... папа... *(трет глаза)* Мне такое страшное при-
снилось... Можно, с я вами побуду?..

ПРИКОСНОВЕНИЕ К ДАЛИ

Моими попутчиками оказались три весьма любопытных субъекта. Один, беспрестанно матерившийся коротышка со смуглой кожей, носил смазанное, словно окурок, имечко Шурик. Другой именовался Михаем и вел себя довольно куртуазно, однако он был падок до русской дорожной меланхолии. Последний, Колян, лицом смахивал на ночной горшок, что выдавало в нем компанейство, свойственное всем полным людям. Между ними происходил разговор...

— Мой дядя — осёл, — рассказывал Шурик. — Но смог нехило навариться. Дачу сбавил, крутым заделался, а теперь вот дуба дать собрался, ну и еду к нему, чтоб потом не на бобах кантоваться. Батя-то мой всю зелень на тусовках оставил...

— А по мне, так все наше поколение — не в тему! — неожиданно воскликнул Михай. — Что впереди-то? Одни обломы и запары! Да и по жизни — как по навозу, где ништяк, где запахло не разберешь. Зуб даю, что наши детишки будут угорать над нами, как мы сейчас над своими...

— Давай покорешимся, — вдруг предложил Шурику Колян, вовсе не обращая внимания на Михая. — Это ж понтовой гнилых базаров, бабских юбок и наездов черных паханов!

— Колюха, кто тебе внушил такие, блин, дельные слова?

— Ладно, — буркнул Михай, — расскажи, как там на зоне?

— Нас было много на киче, одни на нарах отдыхали, другие своей очереди ждали. Мест-то на всех не хватает.

Я направился в тамбур выкурить нечаянную папиросу. За окном проплывал океан, одна пустынная местность сменяла другую, перемежаясь изредка с оливковыми рощицами. Странно, что я оставил папиросы в купе, но возвращаться не хотелось, и я, приблизившись к худощавому человеку в изящном пенсне, попросил угостить меня папиросой, став невольным свидетелем его беседы с удивительным крестьянином в широкой рубахе и с крупными чертами лица.

— Я и в самом деле верю, что Вова Кибран антихрист, — говорил крестьянин, поглаживая свою густую бороду.

— Нет, нет, жизнь слишком сложна, чтобы...

Я вышел из поезда неподалеку от одной оливковой рощи, смотря на странное колыхание веток, как будто само время стекает по ним. Желтая земля мягко проминалась под ногами. Где-то ударил колокол, потом еще и еще. Пробыло полдень. Я на-

правился на звук и скоро очутился в окрестностях небольшого города.

Мне хотелось повстречать кого-нибудь, чтобы расспросить его о том, куда я попал и где здесь можно снять комнату, когда из-за поворота показалась карета. Через минуту она остановилась недалеко от меня и из нее вышел представительный мужчина в мундире, шитом золотом, с большим стоячим воротником; на нем были замшевые панталоны; сбоку — шпага. Карета исчезла, как будто ее и не было, а приезжий направился к двери близстоящего дома. Тут я заметил второго, который шел, закутавшись в плащ и закрывши платком лицо, показывая вид, как будто у него шла кровь. Я проскользнул мимо них, смотря по сторонам. Колокол на башенке продолжал раскачиваться, но не звонил, потому что рядом не было звоняря.

Пройдя вперед, я увидел девочку-подростка, прыгающую через скакалку. Я подозвал ее, и она подошла, предварительно подняв с земли пачку ярких журналов, лежавших рядом с ней.

— Где здесь гостиница? — спросил я, как вдруг из окна второго этажа старого кирпичного дома высунулся человек в махровом халате, с небритым лицом, по которому ползали два отвратительно красных уха. В руке он сжимал шахматную фигуру.

— Аня, иди быстро домой! — крикнул он, неодобрительно посмотрев на меня.

— Там... — махнула рукой девочка...

Я вхожу в комнату с репродукциями Дали на стене и двумя окнами, расположившимися друг против друга. Первое выходит на уже знакомую площадь, второе — на скульптуру, должную изображать коня. Я раздеваюсь, глядя в окно.

Вокруг — странная нежилая местность: мебель, стоящая прямо на площади, зеркало, конский череп, сейф. Детские качели ревматически поскрипывают ржавыми цепями. Войдя в ванную, я обнаруживаю на полке спелое яблоко, надкусанное чьим-то напояженным ротиком. Взяв яблоко, я становлюсь под теплый душ, откусываю от яблока хрустящие куски. Небо разливается, как перламутровый лак. Я смотрю вверх и ласточкой лечу в прозрачные воды лагуны. Вода лопается на тысячи кислородных жемчужин и ступает по телу, как осенний изогнутый лист по воздуху. Позвоночник выпрямляется, попадая в долгие пальцы теней, и превращается во флейту, из которой выливается дрожь и жар. А потом — лишь одно желание поскорей вырваться наружу... Так, умирая, подгибают ноги к животу, скручиваясь, как в утробе матери, становятся меньше. И вот — толчок и головокружение на залитой светом поверхности воды.

Ветер носил по небу облака. Я выбрался на песчаный берег, усеянный обломками погибших кораблей. Мне навстречу шел мужчина с виноградной гроздью, от которой он губами отрывал фиолетовые ягоды.

— Сколько время, не скажете? — спросил он, выплевывая косточки в окно.

— Без четверти двенадцать, — ответил я и потушил папиросу.

— Куда едете-то? — спросил другой, сидящий напротив.

— Да к дяде. Он, конечно, порядочная свинья, но кой-какие бабки успел сколотить, а сейчас вот помирать собрался, ну и еду к нему.

Третий, устроившийся в уголке, отмалчивался. Его папиросы тряслись на столе, выбиваясь из пачки. За окном горели осенние леса Подмосковья.

Леонид Гиршович

7-ГО ИЮЛЯ

(Как птицы в парижском небе)

Порок и смерть язвят единым жалом...

В. Хогасевич

За бортом начало семидесятых.

Почти еще современностью тогда были и молодой Годар, и «Blow up», и уж подавно тонкоголосый педерастический лиризм, прикрывший волосами уши.

Натуралистическое молчание двоих — на сорок минут — после чего она многозначительно — каждое слово с новой строки — просит сигарету.

Пепел же будет стряхивать в пепельницу, вздымающуюся на его узкой голой груди. Простыня сбилась.

За бортом начало семидесятых. Разменять свой век десятками — умеренное крохоборство, и уж, по крайней мере, в серьезный грех против истины не введет. Аркадий Белинков, гость из советского зазеркалья в момент, когда Запад занят собственной поллюцией, Аркадий Белинков в толстой, как ему, верно, кажется, эпохальной книге любуется фразой о медленно поворачивающихся на своей оси десятилетиях. Сам он, Белинков, в числе последних капель из ручейка, что в таких муках сочился оттуда — дабы уйти в зыбучий песок здесь. А память, если она только об одних муках, недолгая. Вот скоро поднимется хвост (Пазолини: «The Canterbury Tales»), и посыплется людишки десятками тысяч. Как раз когда семидесятые с аппетитом начинали жрать экскременты своих шестидесятых, на пиршество это попадает русско-еврейская братва. Она будет бить себя в грудь: homo soveticus! homo soveticus! Будет с изумлением оглядываться, смотреть последнее танго в Париже (Бертолуччи: «The Last Tango in Paris»), именно в Париже...

Ранним июльским утром к перрону Лионского вокзала причалил поезд. Из него вышла супружеская пара Юра и Рая, туристы из Израиловки. Куда приезжий идет в Париже первым делом? Ну ясно куда — на Эйфелеву башню. На маковке безе всегда затвердевший стоит миниатюрный чубчик Эйфелевой башни. Сбитым сливкам, сливочному крему ее конструкция — родственна. Кондитерская «Париж» в сознании черт знает какого непарижанина завихряется Эйфелевой башней — поэтому он бежит скорее слизнуть ее. Желтый венгерский чемодан они оставили на кровати (а

трахнутья в Париже тоже неслабо) своего сорокафранкового номера; снять его удалось с первого захода — в Венеции так сразу, например, черта с два найдешь. В смысле, за такие деньги. Впрочем, если не сразу, то и по давню не найдешь — разберут. И так, чемодан на кровать, рядышком совокупнулись и побежали.

Париж в острослепящем утреннем солнце остается поверх голов тех, кто спешит попасть со станции (по слогам) «Гаре де Лион» на станцию «Бир Хакеим».

— Это что, арабский район?

— Откуда здесь тебе арабский район, — Юра подавил раздражение — еще успеется. — Так... смотри, где пересадка.

Они водили поочередно пальцами по схеме цветных артерий, вывешенных у кассы.

— «Гаре де Лион», «Бастилле»... смотри, видишь, куда идет — до «Гаулле-Этоиле», а тут ссаживаемся на малиновую и до этого «Бира».

— Как Бир-Зайт, — сказала Рая в оправдание глупости, которую сморозила.

Они ехали. «Цхателет», «Рояль» какой-то — торопливо сличали они названия на плане внутри вагона с названиями на стенах мелькавших станций. Что-то им должно было заменить ариаднину нить в этом лабиринте (каковы суть норы метрополитена для непосвященного, для самца и самки гомосоветикуса), раз они не спутали «переход» с «выходом», нужное направление с противоположным и т. п. Вероятно, их путеводной нитью было что-то другое, какой-то антинюх, антиинстинкт, который влечет зверя к капкану (почему к капкану — об этом дальше). Они вышли из метро, свет брызнул в глаза опять, — ангелы разрежали лимон к утреннему чаю... (и тут в кромешной лазури парижского июльского утра (1973 г.) приходит на память, как на недавней родине в пижонских местах кружочки лимона клали в чашечки с черным кофе). По левую руку был берег Сены, дома на набережной заслоняли Эйфелеву башню, которая была совсем поблизости, до нее было совсем рукой подать.

— Вот она, Юрка!

За углом открылось что-то вроде Марсова поля в Ленинграде. И дыбом стоял железный «чубчик пт»¹ на макушке (метафора с учетом, что здесь — макушка) развеселого — разноцветного — вертящегося — праздничного — земного — шарика. Наша рукотворная, но неповторимая Эйфелева башня. И к ней стекаются со всех концов японцы, корейцы, американцы, да и наш брат — мусью, французы приезжают в столицу в каникулярное время с детьми со всех уголков своей великой отчизны. Все стремятся на эту ВДНХ — по двое, по трое, побольше, туристскими автобусами с надписями на всех европейских языках: японских, корейских,

¹ Этакий чубчик. — В иврите русским словом «чубчик» называют все, что возвышается над поверхностью.

американских — особенно же немецких. Много фотографируются, особенно японцы. А солнце, так оно что над рвущей цепи Африкой, что над ВДНХ, что над Эйфелевой башней — всюду оно солнце новой жизни.

Гирляндами висели флажки, звучала музыка. На стадионе справа (они, Юра и Рая, даже отвлеклись от главного зрелища) играли в мяч. Несколько человек игроков, даже, кажется, всего четыре — все в полосатых до колен трусах и таких же футболках (как в пижамах, бля), усатые, с прямыми проборами, мяч ручной — совсем дрессированный. Ну точно, сумасшедшие на прогулке... впрочем, кажется, снимали кино. (Филипп де Брока: «Le Roi de сœur».)

Они стояли промеж сразу четырех надежно расставленных ног Эйфелевой башни, под самой промежностью, вознесшейся на триста метров — вглядываясь в нее, как и остальные в толпе. Железа пошло столько-то, бюст Эйфеля у северной ноги позолотою достоин конкурировать с бюстом Ильича в вестибюле дома культуры (только наоборот, приоритет был у Эйфеля, о чем не знали Юра и Рая; сперва был выкрашенный Эйфель, а потом — крашенные лукичи, девушки с веслом). По одной ноге полз наверх лифт, забитый довольноными блошками, уже свое получившими. Еще большими (меньшими?) микробами, еще большими микроорганизмами казались они на первой смотровой площадке, та кишмя кишела этими счастливыми точками — а лифт полз все выше и выше.

Это был не просто обман чувств (их микроскопичность). В нем содержалась притча: взобравшийся на Эйфелеву башню только обманно обращается в ничтожнейший микроб, различимый лишь под микроскопом, — к нему на самом деле отныне приковано внимание всего мира. Невнятно? А если он там застрял, например? Случись что-либо у них там — как мир тогда засуетится, защелкает объективами, запестрит заголовками! На земле ничего подобного с микробом не произойдет.

Юра осознал это в мгновение ока — причем всем деревенеющим телом, а не только поджелудочной областью или в известной точке мозга, где гнездится акрофобия: что в той выси, куда он собрался, он будет под миллионом взглядов, сила притяжения этих взглядов будет прямо пропорциональна потребности сорваться... его толкает в спину (безличное), велит ему оторвать налитую свинцом подошву от пола — во имя той, настоящей, земной тверди...

Это представилось так живо, что Юра наотрез отказался брать билеты на Эйфелеву башню. Но не мог же он сознаться в какой-то глупости, просто дурости какой-то (разве сам бы он первый не заключил с презрением: дурь).

— Сорок франков — ё-о-о... И это смотри до куда, только до половины, а доверху шестьдесят пять! — Они как раз выстояли часовую очередь в многометровом лабиринте из стояков и цепочек, подводившем к окошку кассы. Над кассой имелся преискурант: контур Эйфелевой башни с делениями, словно указывался уровень воды на разных стадиях всемирного потопа — только почему-то метраж был дан во франках. — А два билета — это уже

сто тридцать! Клара, я ох...ваю (диалог двух коров из «циркового» анекдота).

И тут же он наклонился и пролез под цепочкой, не дав опешившей Рае рта раскрыть — при этом она даже не могла пойти сама, «в гордом одиночестве», деньги-то были у Юры, а он решительно удалялся. И вот ей — отстоявшей такую милую смешную еньку в кассу — ей ничего другого не оставалось, как тоже полезть под цепочку и поспешить за мужем. Но ее трясло — от возмущения... от этой его выходки... у нее не было слов, они же сюда за этим приехали. Это как взять, мокрыми трусами дать ей по морде в самый симпатичный момент.

Он сидел на скамейке, спиной к «виду на Трокадеро» — чтоб прекрасному, так нет. И в бывшем отечестве пытались строить такие же «Трокадеро» на порушенных церквах. Сидел — и как ни в чем не бывало. Ну снесли церковку-другую, ну извели кого-то, ну наплевали в душу — а чего? Разве что-то случилось? И вот с такой нагло-невинной физиономией, не то по внутреннему своему уродству и вправду не понимавший, чего он такого сделал, не то совершенная мразь, за которую ей посчастливилось выскочить, Юрочка сидел и смотрел на Раю. Это Раю взорвало — евонная морда. И она пнула врага в чувствительное место.

— Десять тысяч и так на дорогу истратили, уж сто франков-то тебя не спасет... Снявши-то голову, по волосам не плачут.

Ярость, усугубляемая слабостью своих позиций, к тому же мнимых, стыдливо прикрывавших другую слабость, в коей он, однако, повинен не был, ослепила Юру:

— Да пошла ты! !

Тут уж и Рая утратила над собой контроль, а с ним и контроль над ситуацией. В результате оба спешили и брань пошла на чем свет стоит.

Юра, выражаясь мягко, настаивал на том, что ехать надо было с экскурсией. Все бы по-русски объяснили, все бы было понятно. А то как дурак: ткнешься туда, ткнешься сюда — это к тому, что Рая очень хотела увидеть Падающую башню: поехали в Падую и оттуда, злые, так ничего и не найдя, вернулись к вечеру в Венецию. И вообще был Юра по-простецки общителен, скушно было ему без людей. Как-то в венецианской толчее повстречали они советскую экскурсию: блузки родных расцветок, нейлоновая арматура шляп, нахлобученных на неандертальское надбровье. Свои... Нет, уже не совсем свои — разница: те были моно, а Юра уже был стерео. Тем не менее Юра заволновался. Что-то сделать? Войти в контакт? Рая категорически воспротивилась: на ней были синие джинсовые клешы, ломившиеся в бедрах, ее жировые складки облегла майка с картинкой, туфли — на платформах. Нет, она с ними была уже по разные стороны баррикады.

— Чтобы я к ним подошла? В жизни не подойду. Если хочешь — иди.

Юра страшно неловко, страшно смущаясь, пристроился к советскому мужчине.

— Ну что, землячок, как дела?

Советский мужчина внутренне содрогнулся — но на такой глубине, что внешне это и проявилось именно в том, что не проявилось ни в чем, он даже не обернулся; обернулся, но не сразу. Женщина рядом, видя провокацию — обещанную ей на собеседовании в обкоме, — быстро шепнула что-то другой женщине, та дальше, и явочным порядком граждане Первого в мире пролетарского стянулись, сжались, что мошонка у моржа (того, то есть, кто купается в проруби).

«Советское быдло», — подумал Юра. Сам он был Рае под стать: коренастый малый, весь несколько навывкате — от глаз до пупка. Лицо чем-то знакомое.

Колонки (очень изредка, но встречающиеся) советских туристов — а речь о 73-м годе — имеют (имели) несколько физиономических ипостасей; эти х, например, характеризовало вдумчивое отношение к экспонату, две-три экскурсантки даже что-то строчили в своих блокнотиках. Юра ошибался: как советское быдло повел себя он, а это были интеллектуалы из Краснодарского края...

Рая же разила глобально, припомнила ему магистральные промахи: водительские права, в первую очередь их. Остались без машины. Совсем жизнь другая была бы (и это была правда: в выходные ни к морю, ни в гости дальше чем через дорогу — с ними и дружить-то никому не выгодно).

Юра свирепел от бессилия перед этой правдой, он был как дракон, пораженный Георгием Победоносцем в самую пасть... Только у Юры, в отличие от дракона, пасть нуждалась в протезе тысяч на... страшно выговорить; запущенными зубами Рая, правда, попрекать не очень-то смела, у самой зубы были в пушку.

— Вот если бы умных людей послушал. «Поди и сделай права», — говорил это тебе Богатырян — а ты ему что? Ну и сиди теперь в дерьме.

Юра б смазал ей, кабы мог. За умных людей — не за «дерьмо». Советчики, бя. Ей и сейчас один с Ужгорода посоветовал: шо деньги чужому Шломчику зря дарить, с туристской группой слоняться. У вас шо, своих глаз нэма? Своих мозгов нэма? Сами ехайты. Вот я вам усе скажу, объясню, куда надо... до Венеции, значит...

Есть особый род пафоса: он в обличении чужой глупости, тогда как все в действительности элементарно — только надо сделать то-то и то-то. Рая была податлива на такие речи. Легко догадаться, что супруга своего она «не держала» — другое дело, что в глубине души и в претензии к нему не была, понимая: сама виновата. Раз сама хуже других — а она так искренне считала — то и муж у такой должен быть «отстающий».

Мирились они в постели, и это было не столько примирением, сколько перемирием на время сексуальных действий. На следующий день они снова грызлись и ссорились. В Венеции еще вдобавок оба отравились — так что когда в Болонье ночью садились на парижский поезд, то друг друга ненавидели. А как звучало когда-то: «болонья» (плащ). Эта ненависть гармонизовывалась рожами итальянцев, запахом итальянской еды, поносом на венецианском

вокзале — и другими образами Италии. Впереди, однако, спасительно еще маячила Франция, Париж — топонимический десерт.

Но нагадившему и в этот десерт, прямо перед подъемником на Эйфелеву башню, нет уж, на сей раз ему пощады не было. «Нет уж», — сказала Рая — не ему, себе.

Рая была сильный человек. Она не устроит истерики, не ударится в слезы жалости к себе — она уже себя отжалела, все, это в прошлом.

— Дай мне паспорт и деньги. — Паспорта тоже хранились у него — «на себе», как и деньги, не очень удобно, зато спокойно: всю Италию объездили, и враг был бессилён запустить туда руку (только друг).

— Ты чего? Что такое?

— Я тебе сказала: дай мне мой паспорт и половину денег.

— А вот не дам — что ты сделаешь? — Юра ухмыльнулся, но это была ухмылка перетрусившего хулигана: ершиться-то ершится, а сам в растерянности и действительно прикидывает, может ли она что-то сделать, если он не даст — нет и все. Хорошую школу жизни прошел Юра.

Но и Раю в конце концов не пальцем делали.

— А найду на тебя управу. Ты думаешь, я французского не знаю, со мной можно что хочешь творить? Пойду сейчас, как есть, голая, босая...

— Ну куда? — панически ослабил Юра.

— А в Толстовский фонд.

О Толстовском фонде Юра слышал. Рассказывали — в Беэр-Шеве, в частности, одна семья — все уехали в Толстовский фонд, там евреев крестят и за это дают деньги. Ну, как этот, в восточном Иерусалиме, не Илларион Капуччи, а другой — и он якобы две тысячи дает тем, кто у него крестится, и через Иорданию переправляет в Европу.

— Да ты что, дура? В самом деле — разводишь, что мне жалко. Подумаешь, на Эйфелеву башню не поднялись — в Толстовский фонд из-за этого идти надо? Сто тридцать франков за то, чтобы в лифте прокатиться вдвоем. В фунтах сосчитай, сколько это будет.

В Рае запасы железа истощились, она тоже села на скамейку, спиной к Трокадеро, и заревела в три ручья.

— Ты... ыг... сам... ыггт...

— Райка, перестань! Хватит!

Юра, конечно, обрадовался, что она понтилась с Толстовским фондом. Вот только... Все проходившие оглядывались с интересом, а интерес был злорадный, Юра это знал по себе. Всегда приятно: заголившиеся ноги чужого скандала.

Ему было стыдно людей. Он что-то говорил ей, а сам озирался: на топтавшиеся, пролетавшие, сновавшие — курточки и ковбойки, панамки и майки — лиц же не было, не считая одной-двух физиономий, постоянно маячивших — такова уж особенность толпы.

Как вдруг услышал он:

— Григорий Иванович, не спешите так, Трушина отстала.

Голос женщины, которая сама-то не отстала, но пeчeтcя об отстaющeй. Знакомое, доморощенное, и сердобольное, и одновременно холопское «все за одного, один за всех», неизменное при любой погоде: и в первомайское хлюпанье с жидким транспарантиком, и в светозарном обрамлении примитивистского пейзажа с Эйфелевой башней. (На фоне последней, правда, «савейские» — абсолютный сюр.)

Где это? У Юры затрепетали ноздри, глазки забегали. Их было восемь-девять женщин, разного возраста и калибра, от семнадцатилетней спирохеты до пожилой бегемотицы, с трудом переставлявшей геркулесовы столбы, всю цветовую гамму которых было по силам передать только Ренуару. Остальные были как бы в промежутке, но, в общем, — увесистые квашни. Были и две маленькие — худые, плоские, с мускулистыми ногами, не распрямляющимися в коленках. Так сразу охватить их всех взглядом Юра не мог; видел мореный дуб их лиц — их гнали издалека.

По всей вероятности, это была Доска почета. Это могли быть девчата с говномесительного комбината в Зассыхине, премированные — ни фига себе — Парижем. Это мог быть профсоюзный обмен. Григорий Иванович, тот, что против Трушиной скороход, совмещал в себе функции административные и мужские. Быть единственным мужчиной — это уже функция. Для себя он типичен: втянутое в плечи выражение лица, а поверх — все та же царапающая плешь и лоб нейлоновая шляпа стального цвета, костюм стального цвета, рубашка — желтоватого, розоватого, сероватого — не важно какого оттенка, но муторного, ибо душа просвечивает; в галстукe — скорее будет без подметок, чем без галстука. У Григория Ивановича еще висел на плече аппарат «Зенит» — какой еврей вывозят в Израиль (за бортом 73-й г.).

Ну какой был в них Юре интерес — в таких-то соотечественниках? Я понимаю, приехавшие на соревнования ребята. Или гастролеры. Да хоть как в Венеции была приличная экскурсия. Но эти нинки! Юра таких звал не «дуньками», а «нинками». Дуней — в семье — звали мать, знакомые по работе звали ее Доней или Дашей (Дарья Семеновна Беспрозванная — она была из Криворожья). Нинки! Колхоз «Красный лапоть»! Зассыхинские говномесилки, целлюлозно-бумажный комбинат — а вот поди ж, заволновался. Было ясно, куда направлялись эти труженицы, осуществлявшие волею тупого случая мечту чьей-то жизни. Их вели на Эйфелеву башню. Тут Юра перестал понимать, что же, собственно говоря, помешало ему на нее подняться. Перебрал в мозгу все фантазии — все вроде бы в порядке. Затмение какое-то нашло, бя. Летал же он на самолете, смотрел вниз. И его потянуло на звук русской речи.

— Слушай, Рай, если так уж тебе приспичило подняться на Эйфелеву, о'кей, давай пошли. Ну чего ты расселась? Быстро пошли.

Рая была в стадии акматического перегрева, причем в самом апогее — в наморднике рыданий и ошейнике спазм. А те, русские,

не ждали, вот-вот могли затеряться в толпе. Здесь медлить нельзя было — если хотеть как-то с ними пересечься. Ненароком.

— Ну, давай-давай, — он схватил Раю за руку, но она руку вырвала.

— Не хочу! Никуда не хочу!

Ах, так ее надо было еще уламывать! Он оглянулся, те все еще были в поле зрения.

— Ну, в последний раз спрашиваю — идешь? Нет — сам пойду. То вой подняла (передразнивая): на Эйфелеву башню... на Эйфелеву башню... Пошли, говорю! Слышишь? Я пошел.

Она сощурилась одними нижними веками, восторженно. Лицо запрокинула, подбородок, нижнюю губу, нижний ряд зубов хищно выставила: клюв! И, помедлив, упиваясь своей ненавистью, прошептала:

— Если б ты оттуда еще свалился.

— Этого я тебе не забуду, этого я тебе никогда не забуду...

Он опередил их в очереди — повторной, но кто же считает, мил человек, когда охота. Они стояли прямо у него за спиной. Юра прислушивался, не оборачиваясь — помня венецианский «русский» урок. А взгляд терпеливо озирал однообразную картину: в заданном русле экономично спрессованными петлями еле ползет вереница людей. Дети разных народов, все они по преимуществу принадлежат к одной расе — капиталистической. Коричневая будка кассира с желтыми фестонами над нею, буквы — электрическими лампочками, какая-то эмблема — тоже из лампочек: парусный корабль, что ли. Взгляд это бессознательно обследовал, столь же бессознательно соотнося с голосами, которые различало ухо.

— ..А я-то ей, значит: а ты кофту-то съми. Пуговики свои можешь себе спороть и все, что понашила... — вползал к нему в ухо губной, на свет розовый и посвистывающий шепот. — Нет, к коменданту. Хорошо, идем к Давиденко. Говорю ему: чепэ, и все рассказываю. Кофту мою нашла, позабытую, перелицевала и уже всякого добра на ней своего понашила. Ну, чейная она теперь? Давиденко слушал все, сперва стал правильно говорить — то же, что я: кофта-то не твоя, пуговицы и банты свои срежь, а кофту верни Чувашевой. Она — нет. Назад не спороть ей никак. Лучше пусть всю как есть я возьму, чтоб не испортить. Тут Давиденко-то вдруг ей: бери себе, носи, она твоя. Ты ее больше заслужила. Представляешь?

Это был «Дуэт для зрения и слуха» — созерцалось одно, слышалось совсем-совсем другое. А тем не менее контрапункт возник: может быть, благодаря лампочкам — вместо неоновых трубок, скрученных в буквы? Или, уже внутри, когда купишь билет: как войдешь — железо, железные крепления, выкрашенные в коричневую краску, под лифтом громадные красные колеса, словно из паровозного детства. Колесо крутится, солнце вспыхивает — гаснет. А эти — Юра не знал, как они называются: ... — точно как у «Авроры». Другое дело, почему это должно быть созвучно русской речи — что, все на этом закончилось? А потом было растаскано по разным ЦПКиО и ВДНХ (вот ведь и позолоченный дедушка Эйфель путается с девушкой с веслом)?

— Товарищи! Товарищи — внимание. Внутри сразу направляемся в верхнюю кабину лифта. За мною идем по лестнице...

Экскурсовод, бля. Как Орфей, Юра боялся обернуться. Только на подходе к кассе, на самых ступеньках, скользнул по ним скучающим взглядом — сперва повысматривав вдалеке что-то совсем другое. Бабу к ним приставили нехилую, очень даже ничаво. Стояла с мужиком, Григорием Иванычем — кагебешница, небось. А может, местная. Тот утирал платком лоб, затылок, плешь «с заемом» и пару раз позволил себе обмахнуться шляпой. Рыболов на припеке. Такому сейчас впрямь штанины закатать и с удочкой на берег, да в руки «Правду» — чтоб не клевало. А тут ему в ногу с Трушиной идти.

На переводчицу, в смысле на экскурсовода, Юра никогда бы не подумал, что она с ними. Он и не заметил ее поэтому. Худая, узкоплечая, абсолютно без прически. (На Западе у женщин за собою не тот уход, что в России, в России если прическа не с хорошую задницу, то можешь и в гости не идти.) Глаза тоже у нее по-иностранному смотрят... а все-таки не проведешь Юру: советская! «Товарищи — внимание». И выдала себя. Нет, в Мосад бы такую не взяли. Могла замуж выйти за иностранца — и подрабатывает экскурсиями. Такой, компромиссный ход мысли удовлетворил Юру. Все равно, если и попробоват заговорить, то не с нею.

Увидал он и жертву соломонова суда. Веснушчато-рыжая толстуха, от локтей до подмышек ляжки, сорокапятилетняя... или пятидесятипятилетняя? Хрен их разберет. Чувашева. Кстати, я не знаю, странно: толстые обычно не шепчутся, а говорят громко. И конфидент: спирохета восемнадцати лет. Выходит, больше некому слушать. А последняя, как пишут, «существо такое-то, такое-то и такое-то» — золотушное, белоглазое. Шея, небось, грязная, с голубой жилой — да все равно вампир побрезгует.

— Нина...

Это к ней, потому что отвечает она — с готовностью, с заведомым повиновением:

— Что, Надя? (Привычка услужить старшим? Рада от рыжей отвязаться? А может, Надя за старослужащего здесь? «Пользуется авторитетом среди товарищей».)

— Ты чай свой давала кому?

— Да, полпачки, Вале Петренко.

— Мне она давала, а чего?

Валя Петренко с ходу же готова собачиться (а по фамилии — потому что есть еще одна Валя).

— Ничего, просто знать хотела.

У Нади было строгое лицо человека, желающего быть в курсе всего — конечно же, с благой целью (порой это иначе называется). Она же и была тою сиреной, что заарканила Юру: сказала про Трушину, а он услышал. Что касается Вали, то Валя — одна из двух помянутых худосочных, на полусогнутых ходящих, но с мускулистою икрой. Ее девятимесячная завивка была месяце на седьмом. И Надя и Валя были ровесницы с Чувашевой — а так что о них еще сказать? Чужие лица вообще по первому впечатлению нередко отталкивают — это роднит их со стихотворной строкой.

— Девушки, девушки, проходите, — говорит Григорий Иванович.

Юре удалось оказаться возле лифта в одной куче с ними. Живой свет пленэра сменился тускло-коричневым, кафешантаным освещением ламп в круглых плафонах; свежий воздух — запахом советского пота, — впрочем, лотрековские клоуны тоже потеют, так что легко свалить на них. Продав так сколько-то (кем-то, однако, скрупулезно отсчитанные минуты), они с обшарпанного дощатого пола шагнули на линолеум. В лифт набилось людей как сельдей, и не в бочку, а в трюм рыболовного траулера. Закрылась дверь, и парень-лифтер включил подъемный механизм. Выход был на противоположную сторону, перекувыркнулись...

— Пожалуйста, все держатся меня! — дважды прокричала экскурсовод, сзывая стадо. Юра также последовал этому зову и слушал объяснения: это то-то, это то-то — объяснения сопровождались жестикуляцией.

— Мы находимся на высоте ста пятнадцати метров. Под нами открывается панорама Парижа. Это восточная часть города. В этой части расположена большая часть культурных и исторических памятников. Если вы посмотрите сюда — смотрите в направлении моего пальца — то увидите Нотр-Дам-де-Пари... видите, как будто вам козу делают... знаменитый собор Парижской Богоматери. По преданию он был заложен в девятом веке первым прево города Парижа Дионисием, причисленным позднее католической церковью к лику святых. Горит на солнце шлем Дворца Инвалидов...

Знание самоуверенно, во всяком случае подле незнания, когда то нелюбопытательно. Оба будут принимать какой угодно вид — как говорится, позируем, братцы, позируем. Что результат от сообщаемых или выслушиваемых сведений нулевой, обеим сторонам безразлично. А внешне — не придраться.

— А теперь перейдем на южную сторону и попытаемся отыскать дом десять по улице Лазаря, где с 1907 по 1908 год жили Владимир Ильич Ленин и Надежда Константиновна Крупская. С Эйфелевой башни это сделать будет нелегко...

Пока они переходили, Юра приладился в хвост к одной, замешкавшейся.

— У нас в Москве красивей, — вполголоса заметил он, дважды при этом соврав (если не считать самого утверждения, также весьма спорного), ибо не только в нынешнем своем гражданском статусе, но и в прежнем москвичом не был; но выдавать себя за такового случалось нередко, москвичам же говорил, где-нибудь летом в отпуске: «У нас в Питере». — На Воробьевы горы поднимешься — вся она, первопрестольная, как на ладони, — он сейчас был как брачный аферист — складен.

— А вы из Москвы? — спросила женщина.

— Да, с Пречистенки, — ответил Юра, подивившись легкости, с какой одержал над нею победу.

— А мы зассыхинские... говномесилки мы, — смущенно сказала женщина.

Подошла еще одна:

— Что, кавалером обзавелась, Сычиха?

— Из Москвы человек, не то что ты — из села Кукуева, — отвечала Сычиха, и обе загоготали этой, лишь им понятной шутке. — А это Костина, Вера. Мы ее Наукой зовем, потому что она...

Та толкнула ее в бок локтем:

— Как сброшу сейчас вниз... вагончик с пипкой, — и снова, зажав носы, прыснули — тоже лишь в узком кругу понятной шутке.

— Очень приятно познакомиться, — чинно сказала Костина (Наука), протягивая руку.

— Коля. Вот и познакомились.

Но это была только разведка боем. Те тут же ретировались, а Юра стал прогуливаться, избегая к ним подходить. Сразу нельзя. Он продемонстрировал всем свой нешуточный интерес к видам Парижа — на открытках; к тому, чем торгует магазинчик сувениров. Списал для себя зачем-то адрес какой-то выставки. Извещавший о ней плакат воспроизводил самый шедевральный из шедевров, представленных на ней, — в расчете, что, увидав Эйфелеву башню с головой петуха — играющую на скрипке, да с взлетающими асимметиками, да с катящимся по небу лицом (чуть-чуть Юриным: асимметричный нос), а вдогонку за ним — избушка, церквушка... и все это как дети рисуют цветными карандашами — в расчете, что, увидав это, всяк бросится в Пти Пале смотреть остальное. И что самое невероятное: ведь, опусти Юра требуемый франк в подзорную трубу, нацеленную в направлении площади Согласия, моста Александра III, барок вдоль левого берега Сены, Гран Пале и Пти Пале, он бы увидел изрядное скопление людей у входа в последний.

А у входа в фото-экспресс тоже имелась дурацкая картинка: Эйфелева башня (конечно) — а в обнимку с ней мужчина с пляшущими ногами и с кельнерской бабочкой, над которой зияла пустота, и пустоту эту своим лицом мог заполнить каждый желающий — желавший себя запечатлеть в столь веселой роли. А рядом такое же для женщин. «Дура Райка», — отметил Юра — он представил себе ее лицо в прорези, и в таком виде она действительно выходила дурой.

Решив, что по времени уже достаточно выказывал говномесилкам свою самодостаточность и можно к ним опять приставать — тем более, там имелись сразу две завоеванные позиции, — Юра стал их искать. В толпе западных туристов и их пособников — япошек пришлось поработать глазами. Вот он увидел Григория Иваныча, одного, распахивавшего всех на своем пути в туалет. «Когда ей всегда холодно когда...» вот-вот, казалось, будет выражать его лицо. (Это из анекдота: старый еврей, так и не успев снять всего, что на нем было понадето, брюзжит затем: «Когда ей всегда холодно когда...» Но Григорий Иваныч не старый еврей, смех неуместен.)

Остались без дуэньи — это хорошо. Юра считал Григория Иваныча основной для себя помехой. А вовсе не переводчицу, то есть экскурсовода — кем бы она ни была. Тем более и ее при них не оказалось, и стояли они сами — в тот момент, когда он подо-

шел, — разглядывая сумки, кошельки, кошелки, пластиковые мешочки — всё с триумфальными арками, с Эйфелевой и прочим «парижем». На Париж как таковой, по крайней мере с высоты 120 метров, они нагладелись, а сейчас что ж — передышка, личное время.

— Интересно? — спросил Юра одну из своих старых знакомых.

— А мы про вас говорили — куда это вы подевались.

— Интересно? — повторил Юра, не зная, что сказать.

— Интересно, когда в кровати тесно, — выпалила стоявшая рядом с Наукой Валя Петренко и, отвернувшись, запела: — «Любовь — кольцо...» — Петренко — та, стервятница маленькая, с уголовными замашками, полпачки чая взявшая у Нинки-малолетки.

— Не обращайтесь на нее внимания, — сказала Наука. И быстрым шепотом: — У нее не все дома, — так же быстро при этом обернувшись.

Юра увидел Трушину. Человеческое горе. Прислонясь к витрине и всю ее собой загораживая, она дышала мелко, быстро. Взгляд водянисто-голубых глаз, устремленных куда-то поверх Парижа, был пуст, как небеса безбожника.

Путешественница, бля... А вслух Юра сказал:

— Лягушка-путешественница.

Наука ничего не ответила. Словно обиделась за Трушину.

— Она не лягушка, она — добрая.

Сказала, когда уже забылось, к чему это. Мелькнул еще персонаж предстоявшей драмы под облаками: Гордеева Настя, чуть что красневшая и шедшая пятнами. И даже без «чуть что». Всем Юра что-то плел. Позже других вездесущая Надя узнала, что здесь, на Эйфелевой, девчата повстречали Колю из Москвы.

В последнюю очередь, однако, с мнимым земляком познакомился Григорий Иванович — но это уже после того, как Юра повстречал земляков настоящих. Они прошли мимо, несколько «израильских-примитивских» — несмотря на июльскую жару, в толстых армейских «дубонах» (когда им всегда холодно когда). Еще только слышав иврит, Юра стал оглядываться по сторонам в поисках его источника. Долго искать не пришлось: развязные, руками машут, орут — дикари. Израильски — примитивски.¹ Как будто специально — хотят, чтобы вся Эйфелева башня знала, кто почти своим присутствием железный чубчик ПТО: три Свисо и два Дуби из города Рамле. Так что ярко выраженные сефарды. Какие чувства будили они в Юре, легко догадаться. (А какие чувства в них Юра будил! Сосед-румын рассказывал, что в пятьдесят седьмом ему прямо кричали: «Вус-вус, возвращайтесь к себе в Освенцим».) Но эти — эти вели себя просто вызывающе. В чужой державе, в Париже, устроили себе национальный еврейский праздник — с пением и с хлопанием в ладоши. «Хава наги-

¹ Израильяне о себе — вновь прибывшим (70-е гг.). Ирония и самоирония одновременно.

ла», «Эвену шалом алейхем», «Од Авину хай» — такой репертуар. В патристическом экстазе один достал израильский флажок, им махал (и, главное, нашлись какие-то идиоты, которые тоже стали с ними хлопать). Это было типичное «знай наших!» — и для некоторых российских сердец тоже типичное — с подтекстом, что мы вас, дескать, французишек, в гробу видали и веселимся как хотим, вас не спрашиваем.

А собеседницы Юрины все это полагали в порядке вещей и все хавали. Им посоветуй — сами бы с серьезными мордами затащили что-нибудь свое, целлюлозно-бумажное.

Подошла переводчица. Очень решительно посмотрела на часы, потом на Юру, как ему показалось, косо.

— Вот товарищ из Москвы, — объяснили ей. — Он корреспондент.

Юра готов был сквозь землю провалиться (с учетом даже того, что он сейчас на Эйфелевой башне). Разоблачение представлялось неминуемым: он французского-то не знает. Но переводчица ничего не сказала, вместо этого снова посмотрела на часы. С ними не было Григория Ивановича, и, надо думать, ее это больше беспокоило, кто бы ни была она, кагешный чин или работник западного сервиса, для которого «время — деньги» (конечно, в таком случае и беспокойство беспокойству рознь). Словом, не до Юры — где Григорий Иванович? Юра хотел было пролить свет на этот деликатный вопрос — тоном уже совершенно своего человека — но не успел: не один он такой наблюдательный. От Надиного ока не могло ускользнуть ничего — какой-то Аргус, а не говномесика. Строгая, запыхавшаяся — чуть-чуть, ровно настолько, насколько того требовала любая бескорыстная деятельность — Надя проговорила, обращаясь исключительно к Юре (так получалось, потому что она таранилась на него в недоумении):

— Григорий Иванович в туалете.

— Да-да, — сказал Юра, — я знаю.

Надя вопросительно взглянула на Чувашеву, рядом стоявшую.

— Это корреспондент, — сказала Чувашева.

— А-а, очень хорошо. Надежда.

— Николай.

Рукопожатно, серьезно, по-деловому.

— А что, Григорий Иванович не передавал — долго еще у него заседание продлится? Как в народе-то говорят: заседаешь — воду льешь, отдыхаешь — воду пьешь. Что, корреспондент, неправду я говорю?

То влезла Петренко Валя. А та, вторая, что росточком с нее и тоже приседавшая на каждом шагу своих мускулистых ножек — та, как ни странно, обладала смазливый личиком с упругими щечками, с ямочками. Люба Отрада. Тезка же Валина звалась Валя Зайончик — длинная, сутулая, с выпяченным животом, отчего юбка начиналась под самой ее махонькой грудью, ноги цапли, лицом ни рыба ни мясо.

Так и познакомились со всеми.

Тетя Дуся Трушина — благорастворение в вас, Дусях.

Чувашева. Как огненный ангел, падающий с Эйфелевой башни. Рыжая, рыхлая, веснучатая. Жертва соломонова суда. От локтей до подмышек настоящие ляжки. И поэтому, если кто скомандует ей: руки в боки! — то понимай: ляжки в стороны!

Сычиха, Рая Сычева, с которой первой Юра заговорил. А с первой заговорю с кем — на той и женюсь.

Нина — молоденькая, а вся червивая, бледный спирохет. Не хочу тебя!

Надя... сколько меня таких надь учило. Но «спасибо» они от меня не дождутся.

Валя Петренко, с украденными сережками.

Валя Зайончик — чья фамилия просится на язык сквернослову, а ведь ты девственница, Валя, и носил твой дед конфедератку, за что и родилась ты в Сибири, а оттуда если и выбираться, то уж только на Эйфелеву башню.

...другим Наука (Костина Вера) — «она не лягушка, она — добрая».

Люба Отрадных.

«Люба Отрада», — краснеет Гордеева Настя.

А над гордеевым узлом
Дамоклов рдеет меч.

Вот она, поэма об именах, обсаженная рамздэльскими сосенками.

— Это с Григорием Ивановичем от страха, — простодушно сказала Рая и прикусила нижнюю губу: «Ой...»

Переводчица, до сих пор имевшая сторонний вид, хоть и недовольный, молниеносно переспрашивает:

— От страху?

Сечет, значит. Каждое их слово сечет.

Сычиха молчала.

— Да. С волнения. Он высоты боится, — все посмотрели на Трушину. Тоже внешне безучастна — а оказывается, внешность обманчива: она, как боец-«надежа», подспела в критический момент (когда шла стенка на стенку, так назывался один, сидевший в засаде и в бой бросавшийся, чтобы только спасти положение, и снова исчезающий).

И надо было Трушиной это сказать при Юре. Напомнить ему. Нет, еще не началось. Но лапки — еще вдали, еще крошечные — лапки уже начали тянуться к нему, начали отовсюду расти. Акрофобия могла вмиг достигнуть его... души, могла и наоборот, вмиг исчезнуть — один случайный поворот мысли, ее счастливый или несчастливый билетик.

Переводчица, только коротко взглянув на Трушину, опять смотрит на часы — а глаза той сохраняли неподвижность, как и вся она; вся она стояла, не шелохнувшись... не важно, все равно она себя как бы выдала: что это она — «надежа»-боец.

И Григорий Иваныч — явился не замочился. Зато очень извинялся перед переводчицей.

— Ну, пойдeмтe... да? — заискивающе уточнял он у нeе. — А этoт тoварищ с нами? — он указал на Юрy.

— С нами, — сказaли дeвчaтa, хoтя их нe спрашивали.

Юрa нa волнe этoй всeнaрoднoй пoддeржкe пoзaбыл o шeвeльнyшeмy ужe былo дeмoнe — кoтoрoгo, тoлькo стoит o нeм пoзaбыть, и нeт кaк нeт.

Лифт, пeрeнeсший их нa слeдyющee нeбo, был кoмпaктeн. Спрeссoвaнный сo всeх стoрoн, Юрa пoлyчaл yдoвлoствeниe, срaзy мнoгo yдoвлoствий. Дaвaй считaть пo пaльцaм. Бaбы в кoмпaнии в сyщнoсти вeсeлye. Лeгитим пoлный. Прoдaвeц и пoкyпaтeль были взaимны. Он yдaчнo сoстрил, Трyшинa зaнимaeт трeть кaбинкe — он гoвoрит: «Грyзoпoдъeмнoсть — трe тeти Дyси». И eщe рaз сoстрил, кoгдa Григoрий Ивaныч, тoлькo пoднялись, снoвa нырнyл в тyaлeт пoд лeсeнкoй. «Кaк пeрeд бoeм», — и всe зaсмeялись. Кислo.

Лeсeнкa вeлa из «бaтисфeры», кyдa они пoпaли, нa «пaлyбy». «Бaтисфeрa» — тaк в чeсть стeкoл крyгoм, в дeйствитeльнoсти вoсьмигрaнникa — нe сфeры; в чeсть «пyльтoв yпрaвлeния» пoд кaждым oкнoм — нa пaнeли тeмнoгo плeксиглaсa дaвaлaсь кoнтyр кyпoлoв, бaшeн, двoрцoв с пoяснeниями: «Нaциoнaльнaя Ассaмблeя», «Пaнтeoн». Нo тo жe сaмoe мoглo быть и кaбинoй звeздoлeтa кaкoгo-нибyдь кoсмичeскoгo кaпитaнa Нeмo — сyть в тoм, чтo здeсь цaрил дизaйн Жyльe Вeрнa, a нe Стeнли Кyбрикa.

— Ну, рeбятyшкe... нy, кoзлятyшкe, — пригoвaривaл Юрa. Они пoднимaлись пo yзким жeлeзным стyпeнькaм, слoвнo пo тpaпy. Впeрeди двигaлaсь — вo всe стoрoны — вo всe кoнцы — юбкa Зaйoнчик. Свeжий вoздyх, бoртoвaя кaчкa, сeткa — и пo бoкaм, и нaд гoлoвoй — вoт чeм встрeтилa Юрy смoтрoвaя плoщaдкa. «Пoсмoтри вниз», — прикaзaл Юрe внyтрeнный гoлoс и нe успeл... кaк дрyгoй нaклaдывaeтcя:

— Пoсмoтритe вниз. Мы нaхoдимся нa высoтe трeхсoт двaдцaти мeтрoв. Если вы пoсмoтритe в кoнeц этoгo зeлeнoгo гaзoнa, тo yвидитe знaмeнитyю Экoль Милитэр — Вoeннyю Aкaдeмию. Стрoитeльствo Эйфeлeвoй бaшни yжe шлo пoлным хoдoм, кoгдa тaм нa плaцy кaпитaн Альфрeд Дрeйфyс... ктo-нибyдь слышaл из вaс этo имя?

Лeс рyк нe взмeтнyлcя — тoлькo Юрa пoднял рyкy. Eмy yжe стaнoвилoсь плoхo, сeть слишкoм нeпрoчнaя и рeдкaя — нe гoлoвy, тaк лaдoнь прoсунyть ничeгo нe стoилo. «Пoдoйдe и прoсунь лaдoнь», — нaшeптывaл внyтрeнный гoлoс. Тyт пришлoсь пoтeснитьcя, прoпyскaя дрyгyю грyппy тyристoв — всe врeмя взд-впeрeд хoдил нaрoд, — и Юрa лoпaткaми oщyтил пaрaпeт. А eсли б нe oщyтил — нe oкaзaлoсь бы ничeгo зa спиной?

— Дрeйфyс — этo... — сказaл он.

Шoкoвaя тeрaпия пoдeйствoвaлa. Он знaл (пoчyствoвoвaл хрeбтoм), чтo oт жeлaния выпaсть, вывaлитьcя — сaмoгo бeшeнoгo, нe yкрoтимoгo, с кoтoрым yжe нe сoвлaдaть никaкoй вoлe — eгo нaдeжнo пpeдoхрaнит сeткa.

— Дрeйфyс — этo...

— Хoрoшo, я вeрy, чтo вы знaeтe.

Юра уже без страха взирал вниз — на Марсово поле. Как «Сэйко» на зеленом запястье, смотрелось авеню Жозеф Бувар — только циферблат заменял огромный шатер цирка. На шатре было изображено уже раз виденное Юрой, а именно: Эйфелева башня с головой петуха, она же, Эйфелева башня, играет на скрипке, сверху на нее пикирует Юрина физиономия, только в черных, а не белокурых кудряшках, белые и алые букеты порхают в синем небе, кубарем закружились луковичная церковь и бревенчатые избы.

— Обратите внимание на шапито внизу. Расписал его один известный французский художник. Под шапито бассейн на тысячу двести зрителей, и в нем выступают дрессированные дельфины в совместной программе с группой мастеров фигурного плаванья «Холидей он уотер». Это, считается, лучший дельфинариум в мире...

Рая (רעיית, רעיית)¹ сидела на лавочке. Так и сидела. Архейская древнейшая эра уже миновала, земля остывала, скоро — еще какой-нибудь триллиардик лет — и на девяносто процентов (% жидкости в организме) она сделается обиталищем первых головастиков, начнется по новой жизнь.

Она уже так привыкла к соседству Эйфелевой башни, что ей совершенно на нее не хотелось. Было такое чувство, что на это сооружение она обречена глядеть вечно. О муже (так вот, собственно, о муже) Рая забыла — это было так давно. Жила вниманием к мелкому, сиюминутному: вот по камешку взбирается паучок — хорошо. Травинки, песчинки, Жоан Миро. Крошки-насекомые под ногами. «Лето пройдет, и зима пролетит» — ведь это еще сколько ждать. Сейчас только август, у стрекоз раздолье.

Рая была убита и по обыкновению мертвецов пребывала по ту сторону добра и зла — не наблюдая, кстати, большой разницы между одним и другим. (Когда с той стороны смотришь, ее не видишь: Кочетов, Твардовский — совершенно одно и то же.) По той же причине у нее выветрились из памяти слова напутствия, коими мужа проводила. Помните их? Нет? «Если б ты оттуда еще свалился», — страстным от ненависти шепотом. Это опрометчивое пожелание, простительное, однако, ввиду его неподдельной искренности, позабылось. Тем более что с Эйфелевой башни никто не падал — она б это про себя отметила. Не вспомнила она о нем и позднее, когда вокруг начало твориться нечто невообразимое (короче, она о нем никогда не вспомнит). Вдруг в самое ухо взвыли сирены. За несколько минут все запрудили полицейские, и те, что в колобашках с козырьками, и другие — в пилотках, бронежилетах, с автоматами. Мелькнул крест «скорой помощи». Все это под звуки голоса, несущегося из громкоговорителя. (Когда в грузовике, оснащенном репродуктором, подвозили к их дому арбузы и шофер вот так же, голосом статуи, сзывал народ безэршевский, то

¹ В «Песни песней» обращение к супруге.

не одну Раю — многих русских не покидало чувство, что — «враг вероломно...») Этот же голос вещал:

— *Votre attention, s'il vous plait! Voici un message de la police. Une partie de la tour Eiffel a été investie par des terroristes en armes. Vous êtes instamment priés d'évacuer le quartier. Il en va de votre sécurité. Je répète...*¹

Иди знай, о чем это. Но как страшно стало — не передать. Все, что недавно стекалось сюда, теперь отступало — покорно и поспешно. Лица были сосредоточены, озабочены. Эвакуация в организованном порядке из района бедствия — так это выглядело; так же и судя по детям: кто был с детьми, уводили притихших детей. Автомобильное движение по набережной было перекрыто. Когда какой-то полицейский, обратив внимание на Раю, сидевшую на скамейке, заметил ей, что «это (т. е. сказанное по громкоговорителю) относится и к madame» — слово, которое она поняла, об остальном догадалась — тогда Рая в ответ, помня слово «хасбент», стала при помощи этого слова судорожно объяснять, что у Юры на Эйфелевой башне все деньги и все-все документы и даже гостиничный адрес, а сам Юра на Эйфелевой башне (которая, кажется, собирается обвалиться), и без Юры она уйти не может, он знает, что она здесь — он сюда придет, а иначе они разминутся и вовек друг друга в Париже не найдут. Все это должно было выразить посредством слова «хасбент». Хорошо еще, что в Раином сознании этот, совершенно чужелицкий, в форме, знакомой исключительно по фильмам про любовь и с Луи де Фюнесом — что все же он был продолжением израильского полицейского, а не советского милиционера.

Полицейский проявил настойчивость. Десница власти уже почти касалась предплечья Раи. Но и Рая упорствовала, без устали объясняя, почему предпочитает порисковать собою чуть-чуть. Чтобы потом не пришлось еще хуже. Полицейский неожиданно раскусил Раю — соотнеся (в свете какого-то там обстоятельства) издаваемый ею фонетический гул с судорожными тычками ее рук в направлении Эйфелевой башни.

— *Vous parlez russe? Votre mari est là-bas?*²

Рая закивала — в надежде, что наконец-то правильно понята.

Он что-то произнес в свою «ходилку-говорилку», послушал, что оттуда ответили ему, и затем сказал, обращаясь к madame — фразу, явно успокоительную по смыслу и почтительную по тону. Больному бы такая фраза определенно сулила скорейший приход

¹ — Внимание! Внимание! Говорит полиция, говорит полиция. Вооруженными террористами осуществлен частичный захват Эйфелевой башни. Просим всех незамедлительно покинуть район Эйфелевой башни. Дальнейшее пребывание в этом районе угрожает вашей личной безопасности. Повторяю...

² Вы говорите по-русски? Ваш муж там?

доктора, иными словами, фраза сулила появление лица подобающей компетенции, каковой, увы, сам говорящий не обладает, хотя потребность в таковой нижайше осознает. Приблизительно так. Далее происходит недоразумение. Раю принимают за советско-русскую и препоручают заботам советско-посольского человека. Стальной костюм, вельможно подрагивающие щеки, такой же под-подбородок, в лице капээсэсность с гебэшностью, дополняющие общечиновничью осторожненькую степенность. Такой вот душка прикатил к месту событий — где первым делом ему «устроили» Раю. При этом уже отовсюду просовываются журналистские руки с камерами, диктофончиками — а он не отмахивается. На первых полосах вечерних газет появятся фото под заголовками: «Ей сообщают: ее муж — заложник в руках террористов».

— Так что же, ваш супруг там?

— Да. Я не могу отсюда никуда уйти, понимаете? Переведите им: у него всё — и деньги, и паспорта. Он знает — я его здесь жду (Сольвейг: «Лето пройдет, и зима пролетит...»).

— Только не волнуйтесь. Мы все сделаем, что в наших силах, — а камеры тем временем щелк-щелк. — Ваш муж будет освобожден... а сейчас пойдете отсюда.

— Освобожден?! — уже было готова дать себя увести, доверившись родному языку, — который, как известно, в трудную минуту один мне опора, — Рая встала как вкопанная. — А что? Что случилось? Я вообще ничего не понимаю!

Она-то думала: ну, просто авария, всех спускают, очередь до Юры не дошла... И мурашки забегали по спине, а в других местах тоже — словно тоже на букву «м», и плюс в глазах зарябило.

— Ну ка-а-к же... — у посольского в голосе даже укор. — наших туристов террористы захватили. Взяли заложниками...

— Это ООП? — вскричала Рая грозно — точно была под стенами Иерихона.

— ООП-то тут при чем... дура (чуть не сказал). Лига защиты евреев!

— А ей-то чего захватывать наших туристов? Пусть советских захватывают.

Никакой неловкости не произошло. Как некоторым бывает неведомо чувство страха, так некоторым бывает неведомо чувство неловкости. Оба поняли свою ошибку. Раю свели с другим официальным лицом, из другого посольства, он тоже поспешил на место происшествия — такого неприятного происшествия. К счастью, этот господин — какой-нибудь Гуревич ставший Бен-Гуром — в состоянии был проскрипеть своим идишским голосом что-то «по-хусску».

— Мы вас (ми вас) сейчас увезем отсюда. Будет лучше, если мы побеседуем с вами прежде, чем вас будет допрашивать французская полиция.

— А чего им? Ведь все в порядке. Юре они ничего не станут делать, он же свой. Покажет паспорт... или, думаете, они ему не поверят?

Израильский чиновник понял, что перед ним дура, и не стал дальше разговаривать.

Постепенно становились известны подробности того, что произошло. Свидетели, в том числе непосредственные свидетели, рассказывали: вдруг раздалась ужасная автоматная очередь поверх голов. Когда дым рассеялся, мы увидели вооруженных людей, в руках у одного была граната и револьвер, остальные — всего их было, по утверждению большинства, четверо — держали автоматы. «Узи», уточнило несколько человек. Они были в таких, ну, как тюбетейки... («Кипах?» — «Вот-вот»), в одинаковых куртках цвета хаки, между собой говорили на иврите — один из свидетельствовавших когда-то учил иврит и сразу узнал его. Да и кто как не они до этого громко пели израильские песни — «Хава нагилу» и другие. Это носило вызывающий характер (теперь все с этим согласилось). Себе в жертву террористы избрали туристок из России. Да, по преимуществу женщин — последние выделялись своим обликом. Многие вначале подумали, что, может быть, они из Польши, но потом-то точно выяснилось — из России. Я когда еще этих русских женщин заметила (сказала одна), они так комически выглядели, бедные.

Террорист, владевший французским, выкрикнул: «Лес партир мон пёпль!» Три других выкрикивали: «Лет май пипл гоу!» Затем двое, при всеобщем и полном смятении, быстро сбежали по лесенкам с двух противоположных углов площадки и заняли позицию у лифта. А говоривший по-французски зачитал:

«Мы, члены боевой еврейской организации „Тэша бе-ав“¹ с оружием в руках выступили в защиту наших угнетенных братьев в Советском Союзе. Мы не позволим в новом египетском плену удерживать миллионы сынов израилевых вопреки священному их желанию — созидать вместе со своим народом Третий Храм. Отныне ни фараон, ни его подданные нигде не будут чувствовать себя в безопасности.

Мы требуем от Москвы немедленно прекратить антиеврейский террор!

Мы требуем от Москвы немедленного возвращения из Сибири наших братьев и сестер!

Мы требуем для советских евреев права на свободную репатриацию!

Советское правительство должно в кратчайший срок вступить с нами в переговоры по этому и другим вопросам. В случае невыполнения наших законных требований, начиная с шести часов вечера по местному времени, каждый час мы будем сбрасывать с Эйфелевой башни по одному заложнику».

Другой террорист между тем, что-то громко сказав на иврите, извлек из куртки секатор, явно прихваченный у себя в киббуце, и перерезал в нескольких местах сетку — что преграждала путь к соблазну острых ощущений...

¹ Девятый день месяца аба — день разрушения Иерусалимского Храма.

Потом еще произошел драматический диалог между первым террористом и женщиной-гидом, сопровождавшей злополучных русских.

— У вас французское гражданство? Вы можете идти, к французам у нас нет претензий. Я повторяю: вы можете идти.

— Я французская гражданка, но именно поэтому я остаюсь. Для меня было бы позором покинуть этих наивных русских крестьянок, не понимающих даже, что им грозит, а тем более за что. Да и кто, кроме меня, может с ними объясниться, их успокоить. Нет, я готова разделить их судьбу.

— Воля ваша (сухо, но учтиво).

Предположительно, вслед за последним ими отпущенным французом, бриттом и прочим шведом террористы заминировали шахту лифта и выход на двухсотметровую винтовую лестницу.

«..Лучший дельфинариум в мире...» И только она сказала — о шапито, распisanном, оказывается, известным художником — как автоматная дробь забила над наивными крестьянками. И Юра, и остальные невольно присели, зажав ладонями уши и прижавшись друг к другу — да так уж и остались: чем не горстка военнопленных с руками на затылке? Откуда-то повалил дым, запахло ладаном. Юра испугался меньше, чем это можно было предположить. Вначале — потому что ничего не понял, потом наоборот — поняв, что злоумышленники — те самые ребята в кипах. С ходу подумал о разбое: деньги, драгоценности. Но клич «Лет май пипл гоу!» окончательно прояснил ситуацию. Пока говорилось по бумажке (о чем? Ну о чем могло говориться — о таких, как Юра, естественнo), общее чувство было: «Во дают! На Эйфелевой башне!» Что-то Юре подсказало: лучше сейчас сообщить им, прямо на иврите, каком ни есть, что так и так, и он тоже — препуций ему папаша, правда, не состриг, но это мелочи жизни — а вообще-то он свой, безр-шевский. Но чем дальше в лес и чем отчетливей в том лесу виделась рабская пригнетенность славян, на корточках сидевших, тогда как англо-саксы, хоть и приутихшие, но стояли (и посылки им будут слать через Красный крест, и женевская конвенция будет соблюдаться) — так вот, тем страшнее становилось высунуть голову: получит с размаху по кумполу, еще прежде, чем пикнет (а если стрелнут по тому же кумполу?). К тому же переводчица стала о чем-то с ними разговаривать по-французски. Эти фрэнки¹ все по-французски шпрехают — для Юры это не было новостью. Новостью было видеть черных в роли защитников русской али. Наняли, подумал Юра. Кипеш небольшой устроить. Защитнички, бя.

Избави меня, Боже, от друзей — это был тот самый случай. Что влип в историю (а может, попал в Историю?), Юра понял,

¹ Фрэнками в Израиле долгое время презрительно называли марокканских евреев.

когда действительно они остались сидеть — одни. Горсткою вражеских пленных.

Русские, надо сказать, были смелые женщины — они воспринимали произошедшее с покорностью фаталисток, — Юра представил себе, как по возвращении в Безр-Шеву напишет об этом в газету, некоторые предложения уже составлялись сами собой. Но потом стало тревожно и уже было не до газеты. Террористы, правда, не обращали на заложников — и на Юру, в частности — ни малейшего внимания, но вид имели остервеневший — только сунься к ним, таких п...лей накидают.

Теперь они изменили диспозицию: один у лифта, двое держали оборону наверху — боялись атаки с воздуха? И один без умолку трещал что-то в телефон. Под лестницей, возле уборной — чисто по-французски, был телефон (служебный, в железной «аптечке»).

— Ой, девушки, из пулемета — в самое ухо, зараза такой! Ничего не слышу, — сказала Люба Отрада, жалобно и хитро — жалилась, допустим, перед чужим, перед Юрой, а хитрила?.. Поди там разбери. Как Шевцова с Громовой, краснодонки, сидели они, обнявшись с Гордеевой, — вот-вот запоят.

Но запела, по своему обыкновению, Петренко — а у нее всё в одну дуду, все про то же.

— Это выходит, что им всем дан приказ на запад, а мне в другую сторону? — и запела:

— Дан приказ ему на запад,
Ей в другую сторону-у,
Дай-ка я тебя, Любаня,
Напоследок еб... — извини, журналист — ...обниму-у.

И пошла кадрить террористов.

— А теперь чего? — спросил кто-то недовольно.

Могло сложиться впечатление, что к такому повороту событий женщины были готовы скорей, чем Григорий Иванович. Его шляпа валялась, так и не поднятая им, правый висок вернул левому заем, который по-китайски свисал к скуле. Сам Григорий Иванович отсутствовал, он направился снова в туалет. Шел на цыпочках — опоздавшим к началу доклада. Кричавший в телефонную трубку «номер первый» посторонился, пропуская его.

Юра начал потихоньку обособляться, чтобы как-то дать понять террористам: он не с ними — а с ними. Но не успел — увидел раскачивающуюся сетку, перерезанную проволоку... У Юры упало сердце, и он судорожно прижался к чему-то. (К Сычевой Рае. Вообще же, не выдавший, как террорист орудовал садовыми ножницами, он решил, что это от пуль.)

— Слушай, Валя. Ты помолиться можешь.. ну, по-вашему?

Зайончик кивнула. Сперва пошептала про себя — все, вспомнила:

— Ойче наш ктурыщ ест в небе швенч щел имел твое пшийч крулевство твое бонч воля твоя яко в небе так и на жеми хлеба нашего повшеднего дай нам джишай и отпущч нам наше вины яко и мы отпушаемы нашим виновойцам и не вуч нас на покушение але нас збав одэ злего амен.

— А ты понимаешь?

— Нет, — призналась Зайончик.

Тихий ангел... которого Наука тут же спугнула. Ох, не любит она весь этот зайончик:

— Ха! Ха! Ха! Корреспондент, верно, в Раю влюбился — смотри, как к ней приплюсовался.

— А?.. — задумавшаяся Сычиха сморгнула и лишь снисходительно глянула на соседа: мол, ничего-ничего, если тебе так спокойнее...

— Идет, — шепнула Надя.

Переводчица — мимо них прошла было, но, передумав, вернулась спросить, как им.

— Хорошо все, спасибо. Вот только Григорий Иваныч в туалете все маринуется. Ему б на клизму направление в медчасть дать.

Сие предназначалось, причем нескрывается, для ушей Григория Иваныча — поносник возвращался. И сразу залебезил перед иностранкой.

— Прошу прощения за задержку, я чего-нибудь пропустил?

Та усмехнулась:

— Нет, как всегда.

— Я думал, вы переводили им, что сказал он. Вы же с ними еще потом о чем-то говорили.

— Я говорила о том, что остаюсь с вами — мне было предложено уйти.

— Спасибо, — как бы сам с собою: — Остаетесь... угу... А так больше ничего он не сказал?

— Отчего же. Зачитал их требования.

— И чего они требуют?

— Чего они требуют? — переспросила переводчица. Она отвлеклась: Юрина рубашка приковала к себе ее взгляд — но на рубашке не бывает расстегнутых ширинок, так что спокойно... А предательский магендавид! (Юру даже бросило в пот, в жар, во все сразу.) Нет, не надет... уф... Хотя, может, и зря не надет.

— Они много чего требуют. Чтобы советское правительство вступило с ними в переговоры. Чтобы советские евреи могли беспрепятственно уезжать в Израиль.

— Ишь чего захотели! — и вяло прокомментировал: — Сионистские молодчики.

— Они угрожают, — без колебаний продолжала переводчица, — начиная с шести часов вечера, если их требования не будут выполнены, каждый час сбрасывать с Эйфелевой башни по человеку... извините, я должна взять трубку.

Григорий Иваныч догнал ее у самого телефона и зашептал:

— А они не могут сбросить... по-настоящему?

— Это вы у Трушиной спросите... Ало, ало, — заговорила она по-французски, беря телефонную трубку.

Григорий Иваныч выглядел скорей озабоченным, чем потрясенным. «Шкуры... жалеешь их...» Рука его потянулась к ручке двери (в туалет), но он сказал себе решительное «нет», крикнул, подтянув брюки (не до подмышек, как Зайончик юбку, но пальцев на

пять). На шестой ступеньке его глаза оказались вровень с валявшейся шляпой. Пошел надел, а причесаться забыл, прядь так и продолжала свисать из-под полей шляпы — словно к ее изнанке был когда-то приклеен клоунский парик, и это все, что от него осталось.

— Задавайте мне вопросы, — говорила повторявшая подвиг Януша Корчака переводчица. — Да, рядом... С нами обращение хорошее... Совершенно спокойно, никакой паники — поют народные песни. Перед тем немного помолились. Нужна питьевая вода, продовольствие... я не знаю, может быть, одеяла... ах да! Респрим. Передаю... Хорошо. Сегодня в «Журнал телевизе» будет зачитано их обращение к правительствам и народам мира, — она выразительно глядит на террориста — а тот брутально вырывает трубку. Снова: московские фараоны, сибирские пирамиды — в шесть часов вечера первый Икар.

Говномесилки друг к дружке больше не жались, как сгрудившиеся на крохотном островке. Вода спала? Или групповой снимок уже сделан? Вот и Надя встала и, позабыв одернуть юбку, пошла разведать, куда делась Петренко. Остальные проследовали дорожкой Григория Ивановича... Кроме Сычихи. Сычиха, обросшая с одного бока Юрой, так и несла свой крест. Но предел есть всякому терпению. Рая очень деликатно сказала, что ей надо на минуточку, заняв очередь, и тут же назад, тут же...

Как Юра, так мог выглядеть либо припавший ухом к земле, либо — бери и обводи мелом. Нет, не последнее, все же Юра был жив. Но под ним раскачивалась Эйфелева башня. Все сильнее и сильнее — чтобы сбросить его. Юра заклинал себя как-то доползти до этих парней — о том, чтоб идти, не было и речи — доползти, показать паспорт, объяснить, что на такой высоте у него разрывается мозг, ну, не знаю — сделать что-то!

«Сделать что-то, сделать что-то, сделать что-то», — пыхтя поддакивали паровозики. Они тоже еле ползли. Как называется это в медицине — когда журчит из крана — и уже журчит в утке? Но и за ползущим паровозиком можно, оказывается, поползти не хуже. Только Юра не учел — да и не до того ему было — в глазах террористов всякий, подползающий к ним по-пластунски, скорпиону подобен, и его участь решается на самом низком уровне — на уровне инстинкта самосохранения. Юрино счастье, что его никто не заметил, зато он — услышал... Вне всякого сомнения, это был арабский!

Очнулся он как в люлочке, раскачиваемой тихо-тихо. Это было иное, чем ходившая под ним ходуном Эйфелева башня, — его баюкало здоровенное колено тети Дуси, покачивающееся в такт ее тихому пению:

Баю-баю-баюсь,
В бою боюсь, боюсь,
Солдатиком, солдатиком
В сыру землю вернусь.

Остальные, окружив Трушину, поочередно обмахивали подолми Юре лицо, пока на нем не прорезались глаза.

— Настя, у тебя спички есть? — спросила Трушина у Гордеевой. Гордеева ужасно смутилась и, пунцовая, протянула коробок. Трушина взяла пять спичек, из которых выложила у Юры на лбу пятиконечную звезду.

Головой-то не кружи,
Да тихохонько лежи,
Да тихохонько лежи,
Стару матку не лижи.

Юра послушно не шевелил головой. Подумал: «Сектантки какие-то».

Красной ты армеец наш,
Воротися во блиндаж,
Воротися во блиндаж,
Там у коечку ты ляж.

Все вместе:

У той да у коечке с девицею лежи,
С зазновой сердца наболевшего,
Лежи да лобу свою стережи.

— Кто будет его любя? — спросила Трушина.

— Сычиха, кому ж еще-то, — согласились между собою говномесилки. — Давай, Рай, пой.

Решение было справедливым, и Сычева не заставила себя упрашивать.

А любя те споет,
Споет песню во черед,
Ту, что пели наперед,
В страхе к сердцу-то прижмет.

Баю-баю-баюсь,
В бою боюсь, боюсь,
Солдатиком, солдатиком
В сыру землю вернусь.

Юра уже совсем пришел в себя, но продолжал лежать. Ему было хорошо.

За то время, что он был в беспмятстве, произошли кое-какие события. Ну, во-первых, то, что сам он был найден бездыханным, уже как-никак являлось событием. Дохлый скорпион не опасен (они опустили сразу автоматы), дохлый, он мог вызвать только желание тронуть себя носком башмака, повернуть — чтоб лучше рассмотреть. Заложницы снесли его в более спокойное место — вниз по матушке по лесенке, где окружили вниманием, ему даже в этот момент не снявшимся. Переводчицу, когда она хотела взглянуть, что с Юрой, близко не подпустили.

Другое событие — вертолет. Он покружил и оглушительно завис — совсем рядом, на уровне площадки — трап перекинь и переходи. Террористов это не испугало, они были смелые. Едва

лишь черной точкой (мухой в окне) зажужжал он вдали, террористы заставили Григория Иваныча и переводчицу прикрывать их своими телами. (И о террористах, наверное, надо что-то сказать. Характерами их не удостоим, только характеристиками — техническими. 1) Владеет французским, продолжительность текста минут двадцать, потом сначала. Умеет говорить по телефону. Стреляет. 2) Говорит на иврите, обратной связи нет, христианин. Стреляет. 3) Стреляет. 4) Стреляет.

— Переведите ему, что душит, чтоб не так сильно душил... Ну будьте же человеком... — Переводчица что-то сказала, как харкнула. Григорий Иваныч как закричит не своим голосом: — Что же вы, а? За что же это вы?

— Сами знаете.

Странное это было зрелище — диалог двух голосов, одинаково зажатых колодками чужих локтей (видно, все же неодинаково). Это как если представить себе: в старину, в каком-нибудь Кадисе, пара голов на концах бушпритов ведет между собой разговор. Только в реве мотора, в налетевшем ветре.

— Я человек невоенный.

— Замолчите, уши вянут слушать.

— Но я шел по линии обкома. Мне было сказано русским языком: работа партийная. А на другое я не тренированный, вы знаете.

— Вы ходили к Трушиной, чтоб она вам погадала? Язык распустили?

— Даю вам слово коммуниста: кроме как...

— Вы погубили всех. Страшный будет финал.

Удушьяемый, Григорий Иваныч снова топтал упавшую шляпу. Вертолетный ветер в ярости трепал одинокую прядь на его лысине — словно то был одинокий носок, позабытый на бельевой веревке. Пилот подает знаки, их смысл ясен. К тому же, перестав на минуту свой «поток сознания» сливать в телефон, взбежал по ступенькам условный «номер первый» и подтвердил: доставлен требуемый груз плюс предметы для гуманитарного употребления. Спустят «паучком». «Номер третий» взобрался на плечи «номера первого», как на демонстрациях, когда жгут флаги, и перерезал у себя над головой проволоку — перерезал раз двадцать, по меньшей мере. В том месте, где кусок сетки отвалился, небо перестало быть в квадратик. С вертолета на тропе были спущены один за другим: тюк с одеялами, контейнер с закуской и четыре огромных рулона, до сего момента хранившиеся в багажном отделении вокзала... Юра прибыл на Лионский? А это все лежало на Гар дю Нор — значит, откуда оно ехало? (Лучший способ ввести в заблуждение — не замечать следов.) Четыре рулона предполагалось раскатать и свесить, по одному с каждой стороны Эйфелевой башни — это были транспаранты на четырех языках, размером 40 x 5, всему миру на прочтение:

Let my people go

של אה עמי

Отпусти мой народ

Laisse partir mon peuple

Юра лежал себе, слушал пение сирен — трудно сказать, ловил ли кайф — да как спохватится: паспорта! деньги! Схватился — нет, лежат вроде бы там, куда положил..

— Ха-ха-ха! — дружно грохнули все. И пошли комментарии, скабрзные по форме, фрейдистские по содержанию.

— Правильно, Коля, самый раз переучет у себя в портках сделать.

— Ну как, ничего, Николай Угодник, не забыл? Все на месте?

— Да не смущайте человека. В вас, бабах, стыда-то с воробьиною соплюшкой.

— А может, вовсе и не в нас с воробьиною соплюшкой. Ну что, корреспондент, на месте женилка?

— Без свистка не свисти, а без женилки не женись.

— А без рожалки не рожай, — съязвила Валя Петренко — «с сознанием дела», за что Чувашева (рыжая, соломонов суд, у которой мертвый ребенок родился) чуть не вцепилась ей в глаза.

— А чо ты, а чо ты — а чо я такого сказала?

— Мне надо было удостовериться, что документы в порядке, — оправдывался Юра, как идиот улыбаясь. Ему, чепухи стыдившемуся, когда надо было что-то сказать, что-то лишний раз спросить — ничего сейчас не было стыдно. «Положить, — подумал Юра, — голову снова на тетидусино колено, или хорошего поменьку?»

Трушина это как прочла.

— А ты не бойся. Удобно было? Хорошо было? Приятно было? И клади.

Юра хотел что-то сказать, но тут Надя-в-курсе-всех-дел принесла с «палубы» аппетитную новость:

— Обед привезли, — и весело потерла ладоши.

«Они еще не знают, что это арабские террористы. Надо их предупредить и переводчице сказать».

Долго ждать себя переводчица не заставила. Она пришла следом за Надей и подтвердила: доставлена еда и одеяла на ночь, если придется заночевать.

— На ночь?.. — протянуло несколько голосов. Они до ночи здесь сидеть должны? Так это еще сколько часов.

— Сейчас пятнадцать минут второго, — сказала Наука.

— Я не хочу вас пугать, — продолжала переводчица, — но вы недооцениваете серьезности своего положения... то есть нашего.

— Дооцениваем, дооцениваем. Мы девочки пуганые.

Трушина — единственная, кто молчал. При чужих она была лишь грудой рыхлой плоти.

— И все же говорят вам, вы недооцениваете опасности, вы не понимаете, что это сионисты.

Юрой овладело сложное чувство: сейчас он ей скажет, какие это сионисты, и он предвкушал эффект от разоблачения. Поэтому он решительно встал, но — нерешительно подошел к ней: с другой стороны, это хана для него, это хана точно, если они узнают, что он... Кто он. Он уже видел себя в глубоком пикé. Вон, не больше панамки ярко размалеванный цирковой шатер — на изумрудно-изумительной лужайке. Подлетит, заслонив собою небо, и оглуши-

тельно лопнет первомайским шариком в морду. Первомайские шары — и желтые, и зеленые, и молочный, и красный. И снова молочный, и оранжевый. И никак не казалось больше такой уж глупостью то, что намалевано на панамке: Эйфелева башня со скрипochкой, с избушками, с церквучками, с летящей кубарем кривоносой головою.

Юрино воображение безнаказанно-ретиво, пока он не снаружи, пока заключен в жюльверновскую батисферу.

Паспорт же... (неожиданный ход мысли) предательский паспорт в брюках! Найдут — какюк. И подвешат вас на этом какюке, батенька, пиямо на какюке.

Так, шаг за шагом, отклонялась в сторону Юрина мысль. И он позабыл, что же, собственно, хотел сказать переводчице. А та не забыла, помнила, что хотела сказать ему:

— Сдается мне, что вы не тот, за кого себя выдаете.

Сказала и ушла.

Выдавал же Юра себя за московского корреспондента Колю. Корреспондент Коля... Стыд... ыйяpp! Он не нашелся, что ответить, а если б и ответил — все равно в спину.

Что разоблачен был вовсе не журналист-самозванец — что разоблачен новый оле, житель Беэр-Шевы, маскирующийся под жителя Москвы, об этом Юра не подумал. Каждый наперед знает, какой свиньи от кого ждать. От переводчицы именно такой. Другое дело — террористы...

Юра побрел в уборную — и отлить, конечно, тоже, но главное, чтобы избавиться от паспортов. Террорист с трубкой — можно сказать, в зубах (телефонная трубка имеет форму кости) — с силой бьет каблуком в запертую дверь туалета, показывая, что занято. Но Григорий Иванович с той стороны истолковал это, rozumеется, иначе и с удивительной быстротой освобождает место, что по его милости отныне пусто не бывает. Юра вошел — щелкнуло изнутри. А загажено-то! Как на вокзале, бя... Юра предварительно перелистнул паспорт — свой, Раин: не заваялось ли десятифранковой, или итальянской мии. Израильские паспорта, авиабилеты и — поморщился с досадой — три голубенькие бумажки с Герцлем — все сейчас уйдет в унитаз. А ведь говорил ей: одну сотню лир достаточно оставить.

Алчность — она не только губительна, она чревата и мужественными поступками. Юра задумался. Палестинцы выдают себя за фрэнкoв с совершенно очевидной целью: показать всему миру, что еврейские террористы тоже могут убивать женщин... и детей (споткнулись о детей — тогда уж и стариков). Как этому помешать? Путь один: дать знать на Землю. Муки творчества в сортире, вместо листа бумаги — фирменный белый конверт «Европа турс», где хранились авиабилеты Тель-Авив — Рим — Тель-Авив. Он по-пушкински грыз кнопку шариковой ручки, вспоминая все, чему его учили в ульпане. Но, видимо, на нервной почве нашло затмение, буква *ר* спуталась с буквой *ז*. Счастливая мысль: он все равно во Франции, и с тем же успехом, что на иврите, можно писать по-русски — кардинально изменила, но отнюдь не облегчи-

ла задачу. По-русски буквы он помнил все, но составить текст оказалось гораздо сложнее. Сраму-то не имут, когда говорят по-иностранному — что хотят сказать, то и говорят. Не то на родном — на родном

Несет меня лиса
За синие леса, —

а там такой «Дым», такая «Ася» Тургенева.

В белом платье с пояском
Мне явился образ твой,

Ася Тургенева, явился же под ручку с протокольным советским мурлом, и блюдет мурло себя согласно этому протоколу.

Короче, написал Юра так:

«Люди мира, будьте бдительны! Жители Парижа и Праги, Димоны и Лос-Анжелеса, знайте! Я, нижеподписавшийся Беспрозванный Юра, проживающий по рехов Соколов, дом 9, апартамент 227, Рамат Иешуа Бен-Нун „бет“, Беэр-Шева, государство Израиль, и будучи свидетелем всего, что происходит 7-го июля 1973 года на Эйфелевой башне, торжественно заявляю: молодчики из Ашафа готовятся совершить очередное кровавое злодеяние чужими руками. Они пели „Хава нагилу“, надели кипы, но по ивриту говорил только один из них, а остальные делали вид, что понимали. Когда они достаточно ввели общечужденность в заблуждение, и все поверили, что перед ними евреи, а не арабы, то они произвели захват группы ни в чем не повинных советских женщин, действуя под видом израильтян. Когда они остались одни, думая, что никто из присутствующих их не понимает, они открыто говорили друг с другом по-арабски — уж арабский-то я, слава те Господи, хорошо знаю. Арафатовские молодчики просчитались, они не ожидали, что под видом московского журналиста скрывается еврей. Две тысячи лет жил этот еврей на чужбине, теперь он вернулся домой, расправил крылья, и ему больше ничего не страшно, он знает, что может летать. Рискуя жизнью, пишу я эти строчки. Если меня поймут с поличными (не опечатка, так в оригинале), меня убьют точно, о чем я не жалею. Я не мог иначе, ведь враги хотят очернить мой народ. Нельзя, чтоб им это удалось. Я люблю жизнь. Но если мне суждено погибнуть, пусть все знают — я умру со словами:

Израиль, Израиль,
Израиль — вольные края.
Израиль, Израиль,
Израиль — Родина моя —

а ветер донесет недопетую песню.

(Подпись.)»

Зубами выдернув из трусов резинку, Юра крест-накрест стянул ею исписанный снаружи конверт со вложенными в него авиабилетами, паспортами и израильскими деньгами, сунул пакет в карман и вышел. За сочинительством время пролетает незаметно,

куда дальше оно тянулось для Григория Иваныча, который чуть не сбил Юру с ног, когда тот открыл наконец дверь.

Юра увидел спирохету альбу — Нина, с башней картонных коробок аж до самого подбородка, спускалась по лесенке на ощупь, становясь оттого на правую ногу, как на протез. Будь Юра наблюдательней, он бы поразился: на картонках стояло 1971. Следом за Ниной с грузом всяческой кошерности спускалась Зайончик, за Зайончик — Гордеева, Отрадных и другие.

Были уважены религиозные чувства мнимых израильтян: «У Гольденбэрга» предъявят префектуре полиции приличный счет за всякие кишкес, эсик-фляйш, грибанес с желтком, колобочки, бульончики, креплах, тейглах, шанишкес и прочие шедевры польско-еврейской гастрономии; а также за разные напитки, включая вино марки «Бейлис» — для кидуша.

Юра, пропустив их, поднялся — еще раз кинуть взгляд на Париж, может быть, прощальный. Труссы без резинки укорачивали шаг, а их подтягивать неудобно, тем более поминутно подтягивать. Тайно стреноженный, вышел он на площадку, тайно стреноженный и в прямом смысле — трусами, и в переносном — страхом высоты. Последний вздувался, как на опаре, — при мысли о риске. Юра стоял, не в силах шелохнуться — даже оглянуться из простой предосторожности, на него снизу смотрел удав. «Израиль, — напел про себя кролик слабым голосом, чуть ли не умоляюще. — Израиль, Израиль — вольные края...»

Так ходят люди только в мультфильме — как задвигался Юра: неспешно, на чудо-суставах. Так важно достают они из широких штанин дубликатом бесценного груза тугой, крестообразно перетянутой резинкой — еще от советских трусов — белый конверт «Европа турс». Уже рука поднесена к щели между сеткой и парашютом, парашют испещрен именами и сердечками ничуть не меньше, чем

Ой, рябина кудрявая-я-я...

Но белый конверт так и застыл над бездной — пальцы свело. Еще немного... ну... «Израиль — вольные края...» А в ответ суровое: «Шел солдат, друзей теряя». И все. И хоть ты тресни.

Эти проклятые, эти узкие, эти белые барки, что пришвартованы только с одного берега — в два ряда. Как и пальцы, разлепить бы их, разделить поровну между обоими берегами Сены. Как всем сестрам по серьгам, так каждой набережной бы по ожерелью: нитка барок слева — нитка барок справа.

Если даже за ним до сих пор никто не наблюдал, никто не видел, что он собирает (и одновременно бессилён) сделать, то с каждой секундой опасность быть пойманным «с поличными» возрастала. Сколько он уже так стоит — стрелка-то часов не охватила столбняком, она-то тикает себе. Как привязанному к рельсам в любом звуке чудится приближающийся поезд, так и Юре слышались позади мужские гортанные голоса... Одно движение кисти, каким мечут кости — и т а м выпало бы сразу двенадцать очков. Кто бы поверил, что настолько трудно это сделать, что невозмож-

но это сделать даже под страхом смерти... И вдруг стало возможно — подумал, что три голубых «герцля» только так и удастся сохранить. Повторяем, алчность — зло, чреватое массой побочных явлений благодетельного свойства. Наделяет мужеством — алчность. Исцеляет судороги — как мы увидим — алчность. Алчность чудеса творит.

Юра примерно предполагал, имея за плечами кое-какой опыт израильской жизни, что делается внизу, на земле — если уж в небе все время жужжат как минимум три вертолета: площадь под Эйфелевой башней очищена от туристов и оцеплена, полицейских и командос нагнали видимо-невидимо. Все просматривается. Падение предмета с Эйфелевой башни не может остаться незамеченным. Предмет будет тщательно исследован, содержимое его — если это, скажем, бумажник или конверт — учтут и возвратят законному владельцу при первой же возможности. Что таковой вдруг не представится — этого Юра не допускал. В общем-то он был спокоен: бабы — русские, те — арабцы, разыгрывалась комедь. А вот кто он — через секунду это будет уже не узнать.

Оглянувшись, не наблюдают ли за ним, Юра увидел широкие зеленые спины — почти что рядом. Террористы, побросав свои автоматы, привычно сидели на корточках и пили еще не остывший золотистый бульон, заедая его гефилте фиш. С ледяным спокойствием пустил Юра своего белого голубя, повернулся — белый, всем телом, глаза вытаращены. Свое отражение он мог увидеть в стекле витрины. На смотровой площадке, которая от сильного ветра раскачивалась совсем как капитанский мостик, имелось несколько таких застекленных ниш, а в них сценки из истории Эйфелевой башни, представляемые манекенами. Как раз данная сценка изображала даму с облачком радужных шариков над шляпкой и нескольких мужчин в сюртуках, с ликованием, подобающим современникам Гюго, выпускавших из соломенных клеток почтовых голубей. На какой-то момент, помимо Юриного лица, в витрине отразилось лицо переводчицы.

По стеночке Юра добрался до лесенки в «трюм» — было, было во всем этом что-то корабельное, что-то от старых миноносок времен Цусимы. Спустился — а там, внизу, тоже ликование — однако в духе современников и соплеменников других поэтов, не Виктора Гюго. Общая картина была — «Завтрак на полу». Вокруг бутылки для субботнего киддуша, беспорядочно сваленной еды возлежали говнюшки — пили, ели, хохотали.

— Глянь, жених... а мы думали — сбежал, всесоюзный розыск объявлять хотели.

— Берите чего-нибудь, — сказала Отрада, двигаясь и давая Юре место рядом с Сычихой. Юра сел.

— А «горько», а «горько» когда? — закричала Петренко. — Во, портвешок-то, наливай, Райка, ему и себе. Сегодня ты невеста... — и лихо подмигнула, — а завтра я! — И, схватив один из валявшихся бумажных стаканчиков — опрокинув при этом кем-то недопитый — плеснула себе сладкого кроваво-красного бейлисовского вина. — Горько-о!

Сычева дала Юре в руки стаканчик, налила ему, себе, выпили чинно-благородно.

— Горько! — снова завопила Петренко истошным голосом, и все подхватили: «Горько, горько...» Сычева кротко ждала, оборотив к Юре свои лоснящиеся губы (голос чей-то: — Да она хризантема, бери ее).

Но это же не может быть по-настоящему! Однако, когда он коснулся ее губ своими, то понял: по-настоящему. Рая обняла его несколько робко, но с заявкой. «А чего...» — подумалось Юре. Ухмыльнувшись, он тоже зашарил по бабе руками.

Раина робость отгаивала с каждой секундой.

— Ешь, сердечный мой, — сказала уже уверенно, протягивая Юре прямо в ладонях кусочек эсик-фляйш.

Юра весь перемазался кисло-сладкой подливкой — но было вкусно. Всем было вкусно, все перемазались, мешая все в одну кучу, запуская пальцы то туда, то сюда — а Юра еще к тому же и за лифчик.

«Интересно, только обжиматься будет или по-настоящему даст?»

— Горько! — закричала Петренко, и остальные за нею тоже: — Горько!

Поцелуй затянулся. Всем было интересно, чтоб подольше.

— Давай, давай! — Их подбадривали, им кричали, как больешки кричат своим.

— Валь, — спросила Наука у Зайончик, — а тебе действительно ни разу не хотелось попробовать?

— Нет, я до этого дела непристрастная, — просто отвечала Зайончик.

Над Зайончик никогда не смеялись — она умела молиться. Но Наука не любила, когда та молилась, — смеяться тоже не смеялась, но вопросец могла ввернуть.

— А почему ее Наукой прозвали? — хихикнул Юра на ухо Сычевой.

— А потому что, — так же наклонилась к его уху Сычева, — потому что Верка-то Костина, значит, что сделала: скелет свой музеем завещала — говорит, для науки. Говорит, что наука сумеет оживить человека, а не Бог. У нее вера такая — в науку. Что потом по костям всех покойников ученые оживят. Уже при коммунизме. Она за это Зайончик не любит, Валька верующая и Науке мешает... А что, Коль, может такое быть?

— Коммунизма точно не будет. И оживлять не будут. Один раз живем.

— Коленька, роденький, да ты что это говоришь такое — что не будет коммунизма?

— Будет, я пошутил.

— Смотри, а шепчутся-то как, шепчутся-то как, — сказала Отрада, не обращая внимания на настойчиво протягиваемые ей Гордеевой тейглах. — Да отвяжись ты к Богу в рай! Сама ешь...

— Мы о Науке — что так ее прозвали, — объяснила Рая, — а не о том, о чем ты думаешь.

— Молчи, Сычиха, — отобью мужика! — Наука придурилась, что опьянела, на самом деле только слегка повеселела. Но

этой темы ей действительно не хотелось сейчас касаться, это — святое, это — и Трушина, тетя Дуся. Тетя Дуся обладала над Костиной какой-то неизъяснимой властью, может быть, еще большей, чем над всеми остальными. Посвящена ли была в самое сокровенное Наукиной веры, а может, лично была связана с этим сокровенным — мы этого никогда не узнаем. Так и останется Трушина великой тайной Веры Костиной.

— А вот, — Трушина ни с того ни с сего представляет Юре Гордееву, — Настасья, ненастьюшко наше.

Зарево заката, предвещающее ненастный день, — такой действительно сидела сейчас Гордеева, глаза опущены, не шелохнется. Обижена на Любу Отраду. Впрочем, от этих слов тети Дуси она дернулась в нервном смешке.

— Тоже мне, горе луковое, — продолжала тетя Дуся. — Ну, сама бы и съела.

— Не хочу!

— Ешь, ешь, а то как Нинка станешь.

Последнее подействовало.

Петренко стала подражать тете Дусе:

— А это Чувашева, мы Крольчихой ее, Коля, зовем.

— Не ври! — взвинула Чувашева. А Петренко и счастлива.

Подошел Григорий Иваныч, в промежутках между исчезновениями слонявшийся тенью: покрутится там, покрутится сям — возле лифта, заискивающе ловя взгляд террориста; виновато улыбнется другому, что висел на телефоне, а когда тот отодвигался, пропуская в туалет, Григорий Иваныч в туалет не шел. Он поднимался по лесенке, но тут же с трясущейся челюстью сползал (не просто спускался). Земля была в трехстах метрах; 300 м — это так мало, когда не сверху вниз. И во всем искал Григорий Иваныч подтверждение готовящейся расправы, или наоборот — тому, что это переводчица только пугала. Подошел к пировавшим на полу. Постоял неприкаянно, так и не приглашенный, хотя бы приличия ради, принять участие в общем веселье.

— Ну что, девушки, приятно время проводите?

— Угу, — закивали все, — спасибо... об нас не беспокойтесь... — Но послышалось и негромкое: — Слуга двух господ, — что Григорий Иваныч предпочел пропустить мимо ушей.

— Ну, хлеб да соль, — сказал он.

И вдруг не кто-нибудь, сама Трушина, которая никогда из подполья не выходила, всегда под дурочку работала, под этакий несчастный воз дерьма, который приходилось вечно тащить, — Трушина открыто, не таясь, говорит нравоучительным суровым голосом, при полной тишине:

— Ем да свой, а ты воотдадь стой.

И Григорий Иваныч ушел. В туалете он плакал: вот в чем решение судьбы моей, вот отчего так сердце сжималось, вот подтверждение, что переводчица не врала... Бабы вышли из повинования, Трушина открытым текстом дала понять: не дни — часы твои, Грицайко, сочтены. А ведь гадала иначе. Эх, утопить бы на болоте ее тогда сразу, как в старые годы делали — а то сплетня и вышла. Нельзя, нельзя было ей говорить ничего.

— А чего его так отшили? — лениво поинтересовался Юра, разнежившийся вконец. Бесстыдство, оно расслабляет с непривычки — Юра еле ворочал языком. Было томно, грязно, пьяно, сытно, раскинемся вот так все вповалку.

Сычиха, тоже томная, тоже сытая, обляпанная едой, отвечала:

— Слуга двух господ, Колюша.

— Правильно, только так и надо с ними, с коммунистами, — одобрил Юра.

— Станьте, дети, станьте в круг... — напела Петренко — вопросительно.

— Ну что, бабки, в кружок? — спросил кто-то.

Раин взгляд затуманился, стал маслянист, но тут Надя предупредила:

— Атаc! Переводчица...

Та прошла, бросив взгляд на Юру, на остальных. Это был косой взгляд, взгляд неодобрения. Юра бы охотно ее окликнул, спросил бы расплзшимися губами: «Ну чего такого дурного мы делаем?» Он вспомнил: она ходит, нервничает, потому что для нее это настоящий террористический акт. Небось, думает, что сейчас их начнут кидать за борт. Можно было бы просветить, конечно, — сказать, что это переодетые арабы, русских они в жизни не тронут — если уж ты совсем дура и допускаешь, что евреи способны на такое... Но Юра не смел смотреть ей в глаза: она ему прямо сказала, что он хвастун, враль, а никакой не корреспондент. Потом второе: откуда он про арабов узнал, как он об этом догадался — он что, полиглот? Пришлось бы сознаться... А уж это фиг! Он — русский Коля, а не еврейский Юра. И препуций на месте — если кто жаждет убедиться.

— Ах ты мой пуцлик! — вместо того, чтобы бежать утешать переводчицу, он обхватил обеими руками Сычиху, в шутку, как борец, и повалил. — Ах ты мой препуцик!

Рая (которая רַיָא, רַיָא) сидела и дожидалась, чего не ясно, в одной из комнат некоего здания на рю Шагрирут — в переводе на русский Посольская улица. Посла Аргова девятью годами позже террористы ранят прямо в мозг, из-за чего начнется ливанская кампания. Впрочем, сам Аргов предпочел бы умереть неотмщенным: вторжение в Ливан он осудит как член партии Авода (труда). Но когда еще это будет — еще был жив Бен-Гурион, когда Рая сидела в израильском посольстве в Париже.

Она совсем не помнила, что пожелала Юре свалиться с Эйфелевой башни. Теперь, когда это пожелание было близко к осуществлению, она всхлипывала. В отличие от Юры ни есть ни пить она не могла — ей тоже предложили, и тоже полный кошер (может быть, не такое все вкусное — надо захватить Эйфелеву башню, чтобы потчевали обедами от Гольденбэрга). И вот Рая сидит, терзаясь неведением, как вдруг входят в комнату два серьезных озбоченных господина и торжественно кладут перед ней ее и Юрин паспорта, три сотенные, авиабилеты, белый конверт «Европа турс» — словом, как в анекдоте: «Здесь живет вдова Рабиновича?»

Естественно, Рая решает: это все, что осталось от Юры. Любой бы так подумал — и умный, и дурак. Два господина (не иначе как персонажи упомянутого анекдота) спешат исправить свою оплошность. Нет же, она их неправильно поняла, положение Юрино, конечно, не из легких, но она еще не вдова, о!.. Юрин поступок они назвали героическим, молча ждали, пока Рая прочитает его послание на Землю. Рая, плохо соображавшая, мысли разбегаются, читала еще дольше, чем Юра писал. Один господин, разумовский по-русскийску, восхитился литературными талантами Юры: так красиво написать... така богата мова... Второй по-русски мог сказать только «давай деньги, давай часы», он объяснил Рае еврейским языком, сколь неоценимую услугу оказал Юра «нам». О том, что под видом израильтян действует группа Жоржа Хабаша, они уже думали...

— Не думали, а знали, — уточняет польский еврей, встречая укоризненный взгляд румынского собрата.

— ...но доказательств никаких не было.

— Теперь же есть, теперь можно оповестить об этом интернациональную прессу без ущерба для наших агентов.

— Мóше, — сказал румынский еврей, — подумай, о чем ты говоришь.

— Ты думаешь, Цвийка, мужу этой дамы будет грозить бóльшая опасность, чем теперь? Что они с ним немедленно расквитаются?

— По правде говоря, да, — сказал Цвийка.

— Ошибаешься. Поверьте мне, ханум, что он ошибается. Если хотите знать, для вашего супруга сейчас самая надежная защита — то, что он израильтянин...

— Мóше, ты что, сдурел? Подумай, что ты говоришь?

— Не мешай. Они и дальше всеми силами будут изображать из себя израильтян, а значит, с израильтянином ничего не случится. Наоборот, смертельная опасность нависла сейчас над русскими.

— Возможно, Мóше, ты и прав. Во всяком случае, геверти, мы сделаем все от нас зависящее для спасения вашего супруга. В этом можете быть совершенно уверены...

— Ведь теперь благодаря ему стало возможным предпринять решительные шаги...

— Мóше!.. Всего вам, сударыня, наилучшего. Письмо, написанное вашим мужем, мы, с вашего позволения, возьмем с собой. Не исключено, что оно нам еще понадобится.

— Оно будет переведено на семьдесят два языка с сохранением всех его художественных достоинств — всех!

Анекдотическая пара удалась. Ну точно персонажи анекдота. Это они попавшего под каток Рабиновича просунут под дверь его собственной квартиры. Э-э, стойте! Да это же были братья Марк!

У Раи голова совсем шла кругом: арабские террористы работают под евреев, Юрка на Эйфелевой башне ведет себя как герой, семьдесят два языка... Триста лир надо не забыть — а смотри-ка, не забыл, послал своей Раечке денег, любит Раечку... Снова стала она всхлипать, уже в блаженстве. Это блаженство — быть любимой. Блаженство — когда есть страна, которая всегда готова

(Я отвлекся, разбирая свойства российской усмешки. Зачем мне это? Признаться, с одной лишь целью: потрафить читателю. Читателю необходима время от времени какая-нибудь благая весть, мысль проводимая — «явно», «скрыто», «художественными средствами», читатель видит ее и спокоен: значит, обмана нет, и это подлинная литература. Идейность ведь прием не литературный — социальный. Причем, вышесказанное в равной мере относится и к сказавшему это и лишено снобистского высокомерия. Читая других, я такой же читатель, как все. Уж как обожаю гуманистический пафос (а какой катарсис у меня от него!), роман как метафору заповеди «не убий» или любой другой, или всех заповедей чохом — обожаю. Меня учат добру... И примечание: без толку для добра, но с немалой пользой для учителя.)

«Так что, и тетя Дуся будет в „угадайку“ играть?» — подумал Юра, однако, помня, как мягко было лежать на ее коленях, против не имел ничего.

Действительно, встали все. Тетя Дуся со стоном подняла свои двенадцать пудов, перевалившись сперва на колени и опершись потом об одно обеими руками.

— Глазки закрой, ротик открой... — Негры пританцовывают вместо того, чтобы просто ходить, у структуралистов что ни слово, то цитата, а вот Петренко — такова уж ее природа — может только напевать. — Глазки закрой, ротик открой, — промурлыкала она, показав как — подняв при этом брови и округлив рот, что Юра более или менее исполнил; с ними, с восемью сразу, он чувствовал себя как с одною, совершенно не было стыда. Честно ждал он, сомкнув трепещущие веки, у баб же происходило какое-то шебуршение, должно быть, шепотом договаривались перед началом игры — трудно себе представить, что это они друг дружку по-девчоночьи подталкивают: иди ты — нет, иди ты. Наконец, только хотел он облизнуть пересохшие губы, как ему предупредительно облизнул их чужой язык — будто бы подготовил рабочее место — и последовал продолжительный поцелуй со всякими ухищрениями.

По существу, это было состязание поцелуев. Каждая старалась не ударить лицом в грязь и предлагала свой собственный патент на сладострастие, вернее на умение угодить чужому сладострастию, понимание которого, без предварительной примерки, волея-неволей было умозрительным, отчего большинство упомянутых ухищрений своей цели не достигало.

Сперва Юра не угадал Любу Отраду — от нее ожидал другого, потом не угадал Костину (Науку), она целовалась зрело, ненадуманно — ничто не выдавало непосредственного участия в этом будущего музейного экспоната. Никого не узнал, не узнал даже Сычеву, уже много раз его целовавшую, — сказав, что это тетя Дуся. Рая обиделась, а напрасно: поцелуй тети Дуси — это было то, что доктор прописал. Плохо целовались: Петренко — больно закусившая ему губу, изображая силу страсти; Чувашева — как будто в первый раз в жизни: агрессивно, мокро, к тому же нехорошо пахла — Юра подумал, что это Нина; Нина тоже никуда не

годилась. Удивительно нежно, мягко так, поцеловала его Зайончик. «Ненастьюшко наше», Гордеева, целовалась хорошо.

— Товарищ корреспондент недогадливый, — сказала Наука. — Ну а какая хоть лучше всех была, слаще-то какая?

Юра ничего не слышал про яблоко раздора. Он хитро подмигнул, в знак того, что согласен стать судьей, и медленно начал обводить взглядом соискательниц — а те уж придавали себе «пикантность», и даже Трушина отнюдь не оставалась над схваткой: растопыренными пальцами она схватилась за груди и нагло заулыбалась своему Парису. Ну? Кто же будет мисс Пацалу?

Но тут пошли события, заставившие о конкурсах позабыть. Израильское посольство сделало заявление, согласно которому террористы, удерживающие на Эйфелевой башне советских туристов, принадлежат в действительности к группировке Жоржа Хабаша, а вовсе ни к какой не «боевой еврейской организации „Тэша бев“». Цель их — дискредитировать сионистское движение, в частности настроить международное общественное мнение негативно по отношению к крупномасштабным акциям в поддержку советских евреев.

Террористов, когда они об этом узнают, охватывает бешенство. Доказать, что они те, за кого себя выдают, по их мнению, можно только одним способом — и нечего ждать до шести. Сейчас, немедленно совершится первое жертвоприношение, в четыре двадцать по местному времени — это прокричал в телефонную трубку условно названный «номер первым», затем велевший переводчице подтвердить его слова. В трубке послышалось какое-то междометие — болевого происхождения.

— Они совещаются, с кого начать, — проговорила наконец переводчица. — Здесь двое мужчин, остальные женщины. Боюсь... — но тут она заговорила захлебывающейся скороговоркой, пользуясь, по-видимому, минутной отлучкой своего цензора: — Их не четверо, а пятеро. Второй мужчина — их человек. Он пристал к нам в лифте, выдает себя за москвича, свободно говорит по-русски. На нем рубашка — такая же точно, как под курткой у одного из этих, я обратила внимание. Слышите? На них одинаковые рубашки, какие носили лет семь назад — наверно, израильские... Я очень опасаясь в первую очередь за этих двоих, — речь ее стала вновь подцензурной. — Да... Общее положение? До сих пор было спокойным. Да. Да, если б не заявление израильского посольства. Оно их страшно оскорбило, и теперь, боюсь...

Телефоном завладел «номер первый»:

— Мы начинаем, сейчас, сию же минуту. Чтобы ни у кого не осталось сомнений, кто мы и чего добиваемся.

Дальнейшее подтвердило опасения переводчицы. Честь, которой не пожелаем никому, выпала на долю Григория Ивановича: его именем открывается синодик этого дня. Помните, как он по первому стуку отпирал дверь и выходил — быстрее даже, чем по соображениям сугубо практическим можно было ожидать? (Только обойдемся без психологий.) Его схватили, верней, поначалу просто взяли за руки, потому что схватили б сразу — он бы не вырвался

с криком: «Трушина, ты же говорила, что можешь...» — и уж тут-то его схватили. У Юры на глазах Григорию Иванычу дали хорошенько — раз, еще раз — после чего ноги Григория Иваныча стали сотрудничать с замышлявшими сбросить его вниз с Эйфелевой башни. Но это ладно, главное — когда в момент неравной схватки на одном из мнимых сионистов зеленый армейский дутик распахнулся, то Юра увидал под ним — свою рубашку, сиреневую, в маленькую клубничку, такие продавались на рынке (о чем переводчица, собственно, уже успела доложить на большую землю). Сволочей этих действительно экипировали так, что комар носу не подточит.

«И до сих пор они ничего не заметили?» Такова была первая Юрина мысль. Вторая же, лихорадочная, была: сорвать рубашку с себя, как срывают объятую пламенем одежду — он даже физически ощутил жжение по всему телу. И на третье пришло ему в голову плаксивое, быстро говорящее, с блатным южным выговором, который в такие минуты забывают скрывать: «Да шшо ты суетишься под клиентом, шшо ты суетишься под клиентом — тебя, цуцика, вычислили давно». С соответствующей миной он провозжал самоходные ноги Григория Иваныча, исчезавшие из виду.

Все подались к лесенке, соблюдая безопасную дистанцию. Переводчица тоже — и тоже стояла, задрав голову, словно сквозь потолок можно было что-то увидеть. Одна лишь Надя (как в таких случаях говорят — верная своему профессиональному долгу?) бесшумно, скинув босоножки, стала подыматься по ступенькам, пока по плечи не оказалась снаружи.

— Они его наверх в дырку суют как бревно... на стоечку, — начала Надя свой репортаж, то выглядывая, то пригибая голову. — Суют все еще... руки не связаны, нет... я думала, связали — нет, машет, пролезать не хочет... А там такие ножницы у них огромные, они всё тычут ими в него, чтоб лез... Ой, ткнули за милую душу. Всё. Затолкали наверх... Лежит, вцепился...

Юра вспомнил, как Трушина, или кто там — сказал, что Григорий Иваныч боится высоты. «Это же... это же сломанную руку заламывать, это же по ране тебе за...уячить!» Он на миг вообразил, основываясь на опыте собственной акрофобии, что у человека в душе сейчас делается — представил себя поверх сетки... Внизу Париж, как на ладони — на замахнувшейся ладони. А отведешь глаза — синь неба. Хочешь, чтоб ударила тебя Эколь Милитэр? Трокадеро? Пятнышко золотого купола? Барки на Сене? А может, шапито — оно пестрей, чем кетонет Иосифа, который, в кровавых пятнах, разодранный, принесли братья к шатру Иакова?

— Бля-а-а... — прошептал Юра.

— Он вцепился пальцами в эти проволоки, — продолжает Надя. — Зажмурился, не глядит... А тот его ножницами — колк! Ножницами — колк! К краю всё... Сейчас палец... чтоб не держался... сейчас отстрижет...

Переводчица бросилась к пустовавшему телефону:

— Алло! Алло! Вам известно, что здесь происходит? Ах, ведете наблюдение...

— Он не шевелится, — сообщала Надя. (И переводчица дублировала; седьмого июля 1973 года, live (как «кайф») с Эйфелевой башни, причем в момент начавшейся экзекуции — или уже закончившейся...) — Да-да, — подтвердила Надя, — больше не шевелится. Они ему уже знаете куда ткнули? Ноль внимания.

Реагируя на внезапную автоматную очередь, все пригнулись, как в современном балете — та же пластика. Но Надю, казалось, ничто не могло устроить.

— Он в него из автомата! А полилась-то! Как в душе «Политработника» — одна струица бьет, другая еле-еле... Их самих замочило... (Семантически они были квиты: они замочили его.) Кричат на того, который стрелял... чего-то сороятся. А Григорий Иваныч проливается-то весь... шухер, тикайте!

Сама она не успела, «номер первый» выволок ее за волосы и стал орать, в ярости позабыв, что Надя его не понимает. Переводчица по ступенькам затопала ей на выручку каблучками:

— Он говорит, что вы... — она запнулась, — ...должны сбросить вниз тело, — из его крика она перевела только это, относившееся, разумеется, не к одной Наде.

— А ну, свистать всех наверх! — скомандовала Валя Петренко.

Прикинули, как лучше сделать, и решили: нужна швабра — или что-то на длинной палке, чтобы, спихивая, не принять самим кровавый душ. В подсобке, в туалете, стояла как раз швабра. Если участие в субботнике и не было стопроцентным, то лишь благодаря Трушиной да Юре, оставшимся внутри. Валя бодро запевала, швабру неся на плече, как какие-нибудь грабли, или с чем еще, не считая ружья, принято маршировать:

А ну-ка, девицы, а ну, красавицы,
Пускай поет о вас страна...

— Пошел бы взглянул. Чего, со мной, со старой бабой, сидеть, — кокетливо сказала Трушина Юре, который со страху был ни жив ни мертв: следующий — точно он. Они обещали, начиная с шести, каждый час... неужели уже шесть?

Его била дрожь, мелкая, как клубничка на его сиреневой рубашке.

— Это что ж, мы с тобой одни здесь? — продолжала Трушина. Словно возражая ей, раздались остренькие шаги — оказалось, принадлежавшие переводчице. Переводчица взглянула на них издали и снова скрылась. — У, пособница, — прошептала Трушина с ненавистью. — Думает, я не знаю, кто она. Она-то, Коля, здесь главная. Она Григория Иваныча убила, понял? Ну, это не наше дело: две собаки дерутся, третья не лезь. Григорий Иваныч на всех стульях хотел сразу усидеть — жизнь таких не любит. Я девкам сказала: вы, девки, не бойтесь, мы их дел не знаем. Чего ты, Коль, дрожишь-то? Не дрожи, дурак! Тебе чего бояться — кого надо было, того уж нет. Сейчас девочки там приберутся, и, Бог даст, в кружок станем.

В иное время, в иных чувствах пребывая, Юра, может, и вынес бы чего из тетидусиных разговоров. Но не теперь, когда

всё — и когда это «всё» ему заслонило всё. Зрачки его души уже оставались неподвижными. Тетя Дуся чего только не делала — и прижала к себе его безвольное маленькое существо, и топила его голову на груди своей. Бесполезно. Юра впадал в полудрему, страх разливался сном. Ему грезился Бог. Это была самая безбожная картина в мире — лучше скажем, это была даже не картина, а соблазн — ее себе представить.

Совокупное человечество в протяженности временной образует ТЕЛО. Хавроньей развалилось ОНО во всемирной луже. Рождаются новые клетки, умирают старые — эти людишки... (еще презрительней) индивидуумы... — но сама тетя Труша невозмутимо лежит кверху брюхом. Причем, клетки мозга не чета клеткам копыт, целые народы — что там по отдельности люди! — не из равноценного материала. Говорят же индусы, что из ступней Пуруши получают рабы, из бедер — воины, ну а кшатрии и брамины — это руки и голова. Браманизм заблуждается лишь в одном: никакого Пуруши нет, а есть тетя Хрюша. А что ЕЙ действительно есть дело до каждой своей клеточки — жившей, живущей, еще не рожденной — так это согласуется: в пятку вонзится осколок — тоже будет больно.

Санитарная команда возвратилась с намерением «помянуть».

— Винишко еще есть?

Они разлили по бумажным стаканчикам кроваво-красного бей-лису.

— Ну, — сказала Наука, — на помин души Григория Иваныча.

— Погодьте, погодьте! — закричала Нинка-спирохета, увидав, что выпивают без нее. Она задержалась — относила швабру. Налили ей.

Юру чуть не стошнило, он к тому же вспомнил французское кино одно, где перед казнью дают выпить стакан вина.

— Ну, расхлябился, парень молодой, — сказала Трушина. — Вот бери пример с девок. Все им нипочем. Ну, наливая, Ненастье, разгоняй тоску-печаль.

Разливала Настя Гордеева.

— Девушки, закусывайте, — говорила она им, как гостям. Сычиха уже привычно уселась с Юрой — тетя Дуся уступила Юру без лишнего слов, словно сняла с себя шкуру Немейского льва; его лапы Рая смело могла завязать на груди.

— Слатенький, хочешь кусочек?

Но шкура Немейского льва, несмотря на свою пасть, есть ничего не могла. И слатенький кусочек отправлялся в рот к Рае.

После убийства первого заложника обычно переговоры с террористами оживляются. Почему-то на сей раз этого не произошло. Наоборот, террористы будто забыли о своих требованиях. Телефон разрывался — трубку никто не брал. А вдруг сам Леня звонил сказать, что на все согласен: берите своих евреев, только отпустите с миром моих говномесилок. Это было не по-террористски. Выходило, цель их акции в том, чтобы выполнить свою угрозу, а не добиваться требуемого. Переговоры же: трескотня по телефону,

выдвижение условий — все это делалось исключительно для отвода глаз.

И снова появилась на горизонте переводчица — и даже не на горизонте: она приблизилась к компании «веселой и хмельной».

— Пир во время чумы, — сказала тихо, «сама себе».

Юра, правда, услышав что-то знакомое, глянул своими мутными, пьяными от ожидания глазами: а не ангел ли смерти это за ним пожаловал? Остальные проигнорировали. Если согласиться, если принять образ, данный переводчицею — хоть и не блещет он оригинальностью, — то самой ей отводилась на этом пиршестве в «чумном городе» роль Священника.

— Не понимаю, — говорила она, — не понимаю вашего веселья после того, что совершилось.

— Так не с нами же совершилось, ха-ха-ха!

— А если бы с вами?

— А с нами не будет ничего, — сказала Отрада. — Вы это сами знаете.

— Знает, знает, — раздался голоса, все сразу заговорили наперебой, а анонимность — она распяет. Наконец прорвало: — Значит, стращать явилась... сама здесь первая сионистка... за целочек нас держит... — и уже кто-то толкнул ее, а как известно, лиха беда начало. Переводчицу повалили. Если б не Юра, кто знает, чем бы это для нее кончилось. Единственный оставшийся внизу террорист, «номер четвертый», был где лифты, в коридорчике, — к крикам русских он уже привык.

Пелена, окутывавшая Юрино сознание, спала вмиг. И одурманенный, и в психическом шоке, человек какие-то важнейшие рефлексы сохраняет, в частности Юра — на слово «сионист» и производные от него. Мы знаем евреев-подонков, которые на любое число делятся без остатка, евреев-мафиози, атеистов с полусотлетним стажем, просто выкрестов — все равно еврейское ядрышко в них будет твердое как алмаз.

— Что вы делаете, оставьте! — закричал Юра и бросился оттащить их. Одной его решительности уже оказалось достаточно. Порой, чтобы вернуть кого-то в чувство, совсем немного надо: отрезвляющая пощечина, ведро воды... «Хватило одного выстрела, — писал Шопенгауэр, — чтобы чернь, скопившаяся на площади, моментально рассеялась».

Когда переводчица убежала, все стали оправдываться — стухнув: «Да чего... да она... да мы...»

— А чтоб евреи нас здесь держали, это можно? — сказала тетя Дуся.

— Да они не евреи, тетя Дуся.

— Они — может, нет. А она — еврейка. И не перечь мне.

— А вдруг я тоже? — пошутил Юра.

— Нет, ты наш, Коля, ты русский.

Ну что им-то, спрашивается, евреи сделали? Или «еврей» привычный синоним их несчастий? Нет, это было бы даже обидно — для обеих сторон. Смеетесь, а ведь каждая из «девушек» имела более или менее веские причины быть антисемиткой: одна — жер-

тва соломонова суда, другая — стихийная федоровка; славянский гностицизм — белокурый — здесь уперся рогами в такой же точно гностицизм чернявый, стоят они, как два барана на мосту. У Зайончик евреи Жениха убили — такое не забывают. А этому древнекитайскому Инь в образе Трушиной, тете Дусе, этой новейшей российской матер матуга, ей из-за еврейского Бога и вообще жизни не было — Юноне несчастной. Словом, всем евреям так или иначе чем-то досадили. Это не мешало многим хорошим людям в личной жизни поступать с евреями «по человечеству», а не «против человечества» (что, правда, тоже практиковалось).

— Ладно, — сказала Трушина — свадьбу сыграли, и в кружок. Нынче волынку волынить с женихами нечего. А то они, видишь, фьют — и улетают.

Сычиха обратила на Юру взгляд — преданный, нежный, жадный, дорвавшийся. Он же, по совершении благородного поступка, приободрился, хотя и не настолько, чтобы сказать о себе словами поэта: «Я жить хочу, чтобы любить». Семь говномесилок обнесло новоявленную чету частоколом своих спин, Сычиха стала по-собачьи на четвереньки, закинув платье на спину — вся ожидание. (Феллини: «La Citta delle donne».) «Встанем, дети, встанем в круг» — то, что Петренко когда еще вопросительно промурлыкала, — оказалось не просто песенкой, но ритуальным песнопением, которое в подобных случаях «частокол» хором исполнял. Они пели сосредоточенно, вполголоса, негромко хлопая в ладоши — как буддийские монахи. И снова и снова, с небольшими перерывами.

Встанем, дети, встанем в круг,
Встанем в круг,
Встанем в круг.
Я твой друг и ты мой друг,
Самый лучший друг.

У некоторых веки были опущены, или из-под них выглядывал обморочно-томный серпик белка — предвестие экстаза. Когда в шестой или седьмой раз куплет был спет и, казалось, певчие уже близки к желанной цели, раздался Сычихин чуть не плачущий голос:

— О-о-й... не мужик он... я уже измучилась... ничего у него, родненькие, не выходит.

— Так я и думала! — на «у» Трушина в сердцах топнула. — Которые перед «вышкой» тоже: у кого наоборот желание сильнее пробуждается, чтобы напоследок еще раз успеть, а у кого — ни в какую. Миленский, слушай, — продолжала тетя Дуся, — давай мы все платья поднимем, хорошо?

Хриплое, слотнувшее слюну «да».

Они сделали то же, что делают исполнительницы канкана, когда поворачиваются спиной к публике.

— Ну что, Райка? — немного погодя спросила Наука.

— Нет, не хочет он. Все, девки, умаялась я.

— Эх ты, царь Никола, — вздохнула Наука.

Когда душа и тело Григория Иваныча разлетелись в диаметрально противоположных направлениях, и второе, лушпанясь по

всем железам, не больше не меньше как расплющилось о капот полицейской машины — тогда, с благословения Его Величества Президента, стали готовиться к операции, причем израильтяне делали вид, что рвутся ее провести сами — дескать, памятью о кровавых событиях прошлого лета. Французские коллеги делали вид, что категорически возражают — они не какие-нибудь безмозглые баварцы, да и честь Франции этого не позволяет.

— Вот если б террористами были еврейские экстремисты... — с тайной надеждой добавляла французская сторона.

— И не мечтайте, — говорили в Тель-Авиве, — а-ра-бы.

— Но, может, вы хотя бы допустите такую возможность? Не исключено, что мы бы в этом случае уступили вам честь освобождения заложников.

— А-ра-бы. Еврей там один, и он в числе захваченных, и поскольку речь идет о жизни израильского гражданина, мы настаиваем на том, чтобы операцию позволили провести нам. У нас накоплен большой опыт по борьбе с террором. Мы не желаем повторения мюнхенской трагедии.

Верх взяла израильская дипломатия: израильтянам не позволили действовать — а как громогласно они этого хотели! Но израильтяне не злопамятны: так уж и быть, они помогут добрым советом.

«Хоть советом, и то хлеб», — утешали себя французские коллеги.

Советчики, однако, если они не на жаловании, ни за что не отвечают и могут такого насоветовать, что после костей не соберешь — здесь выражаясь отнюдь не фигурально (бедная Наука!). Кто поручится, что Мосад втайне этого не желал — не из присущего евреям коварства, а по странной прихоти: подыграть своему заклятому врагу в его стремлении любой ценой замести следы неудавшейся авантюры.

Поэтому для французских коллег лучшим, вернее сказать, более оправданным утешением была бы вероятная признательность Москвы: русские всеми силами противились тому, чтобы израильтяне освобождали заложников — не иначе как боялись, что и впрямь еще освободят. После убийства Григория Иваныча стало ясно: там наверху творится что-то непонятное. А планировалась такая невинная бескровная штучка.. Вдруг какой-то эмигрант затесался — это еще что за фигура, какова его истинная роль? В придачу перестали брать телефонную трубку. Что же, что же могло случиться? Согласны! Согласны сами так никогда ничего и не узнать — только бы другие этого тоже никогда не узнали. Пускай французы посылают туда десантников под командой какого-нибудь алжирского ветерана. Будет как в фильме, который вчера по телевизору показывали: «Мертвые хранят свои тайны». Во киношка!

Примерно такой была политическая раскладка на земле, в то время как под облаками делалось... нам известно что — мы просто не в состоянии переварить имеющуюся у нас информацию. Но сейчас мы снова вознесемся, только несколько слов о Рае (которая רַעַיָה, רַעִילָה). Так она и продолжала сидеть на рю Шагрирут — статисткой в царской ложе, скажем, в пьесе про народовольцев.

Телевизор работал: каждые пятнадцать минут шел десятиминутный репортаж с места события, в котором быстро-быстро, взмахом говорилось что-то, но что, Рая же не понимала, а догадаться по картинке было невозможно — все одно и то же показывают. Пока после очередной пятиминутки, на сей раз посвященной соревнованиям по прыжкам с высоты, Рая не увидела носики с наброшенным поверх покрывалом, битое стекло, кровь. Она кинулась было... но к ней и без того уже спешили — сказать, чтоб она не беспокоилась, что это не ее муж.

Это может действовать на нервы, когда телефон звонит не умолкая, а трубку никто не берет. Но когда телефон разрывается не в соседней квартире, и не на столе у отлучившегося куда-то чиновника (все то время, что ты его ждешь), когда этот телефон звонит к тебе — и звонит, и звонит, и звонит, и прямо как специально не желает уняться — тогда ты хватаешь автомат и — ды-ды-ды-ды-ды! И телефона нет.

Один психанул — психанул другой, это реакция цепного пса. Она же и цепная. Но одному подвернулся под руку телефон, другой обратил свою ярость на... на... лихорадочные поиски глазами... на... на... на... апчхи! ну конечно же, на заложников. Убийца телефона тоже тут как тут. Понимая, что после Григория Иваныча он следующий, Юра уже ощущал на себе мертвую хватку влекущих его наверх вражеских рук. Выбор жертвы длился секунду — знаменитую секунду, воспетую и Борхесом, и Достоевским, и Набоковым — и всеми-всеми друзьями казнимых. Юра еще не знал, будет он сопротивляться или, наоборот, проявит максимальную предупредительность в своих отношениях с палачами. Переводчица что-то там вопила, по-христиански вступившись за своих обидчиц, но на вопли ее не обратили внимания. Палец ткнул... не в него — в Трушину! О-о-ох... (По тому, как тетя Дуся смерила взглядом переводчицу, выходило другое: к ее воплям-то как раз и прислушались.)

Но что тут началось! Нет, этого не передать никакими словами — так в улье, шумящем вокруг раненой матки, снует озабоченный рой. Отбить «матку» возможности не было, но под ноги кидались, голосили, взвизгивали — отбрасываемые пинками, и снова кидались, укладывались на ступеньки. Пытались даже, не в пример иным робким ученикам, взойти за нею следом на Голгофу — но башмак, лягнувший Науку в голову, сбросил ее с лестницы, у основания которой в результате образовалась гряда тел. Бабы скулили, плакали, причитали, а громче всех — просто визжала, не переставая, — осиротевшая Наука — Вера Костина. Оттого шея у нее сделалась жилистая, багровая, высоцкая. В этом нечленораздельном визге с трудом можно было разобрать пожелание, равное по безнадежности лишь исступлению, с которым оно повторялось: «Меня возьмите вместо!!! Меня возьмите вместо!!! Меня возьмите вместо!!!»

Юра же испытывал безграничное чувство счастья. Разум его в этом не участвовал — здравомыслие повелело бы ему **выть** с

тоски: не сейчас, так через час; но, возможно, поэтому столь упительным, чистым, «платоническим» было это счастье. Беспричинное счастье — в сущности благодать Божья, маленький рай, в котором нет места своекорыстию (если не счесть своекорыстным желание жить). Вспышка такого счастья, не обязанного никаким внешним обстоятельствам, начисто лишена злорадства по отношению к чему-либо или кому-либо. О простом человеческом счастье (в кавычках и без), возникающем из чувства нормальной удовлетворенности, такого не скажешь. Как нормальная любовь всегда глядит в постель, так нормальное счастье всегда чуточку злорадствует, спросите у любого фрейдиста. Потому на сей раз Юре и не согревала душу чужая беда, хотя как еврей он просто обязан был этих блядских антисемиток ненавидеть — желать, чтоб они сгнули вслед за своей дорогой тетей Дусей, тогда как сам он благополучно возвратится в свою дорожную Безр-Шеву.

Радуясь, что жив, то есть ну совершенно беспричинно, ибо любой козел этому может радоваться, Юра смотрел в окно. Жюльерновская батисфера плыла над измыслившимся ее городом. Сколько ни длился день, а все светло. Правда, какая-то рыхлость в воздухе уже замечалась, Юра ее замечал: дымка не дымка, складка не складка — возраст дня давал себя знать. Здесь уж никакая косметика, никакие ухищрения не спасут дела. Остановить наступление ночи мог бы только Иисус Навин — но Юра о таком деятеле даже не слышал, даром что приносил это имя бесчисленное количество раз: Рамат Иешуа Бен-Нун называлось место, где он жил.

Беспричинная радость не может быть долгой — Юрина сменилась, однако, не экзальтацией, как это, порой, случается с жертвами политического террора, например, двумястами годами раньше и тремястами метрами ниже это произошло с Камиллом Демулениом — по пути на площадь Бастилии... должно быть, вон там... такая выемка... Юра отвернулся резко — сейчас туда сбросят. И снова увидел распростертых на полу говномесилок. Безразличные к собственной судьбе, они оплакивали свою священную корову горше, чем эфиопы — Мемнона. Еще бы, предстояло их превращение в птиц!

Оно настало. «Номер третий» — а следом и «второй», и «первый» — сбежав по лестнице, ногами распахивали павших на лице свое. При этом их глотки издавали звуки, которые переводчица перевела ровным фашистским голосом (или убитым голосом?):

— Всем приказано подняться наверх.

Могла бы и не усердствовать: под ударами башмаков вектор задался сам собой — без лишних слов. Но каково было изумление несчастных, когда наверху увидели они тушу Трушиной. Тетя Дуся полусидела-полулежала-полустояла — целая-невредимая и — веселая, не скажешь, конечно, но во всяком случае шевелившая жабрами. Она была так необъятна и тяжела, что поднять ее, затолкать в дыру в сетке, не представлялось возможным. Судя по художествам на тетидусиной физиономии, террористы нашли способ вознаграждать себя за эту неудачу.

— Тетя Дуся... — прошептала Наука. — Тетя Дуся... — шептала она, как блаженная. Увидеть Неаполь и умереть — тетя Дуся

была ее Неаполь, террористы, наверное, оттого и пренебрегли ею (неинтересно), а приглядели Чувашеву: Чувашева дрожала — рыжая, жирная... Жирные кому угодно противны! И тем не менее это же ее и выручило: подождет, после Трушиной еще не отдышались.

Не получилось из Чувашевой Жар-Птицы, Огненного Ангела — правда, светло еще было. Зато Валя Петренко выглядела пушинкой — «легка на подъем» (они, конечно, своими ножницами могли проделать отверстие на любой высоте и не надсаживаться, но когда сетка по бокам цела, труднее их атаковать — такова была их военная доктрина). Валя Петренко, схваченная за локотки, дерзко вскинула голову. Ни капли страха, только гордое презрение к палачам было написано на ее лице.

Орленок, Орленок, лети выше тучи
И солнце собою затми, —

пела она чуть срывающимся от подступивших к горлу слез голосом. Сама подтянулась на проволоке, а выбравшись наружу, встала во весь свой крошечный рост.

Тебя называли Орленком в отряде,
Враги называли Орлом.

Со смесью ужаса и восхищения следил за ней враг, а Валя, осторожно ступая по сетке, сама, безо всякого секатора, босиком в бессмертие вошла.

Не хочется думать о смерти, поверьте,
В тринадцать девических лет... —

звучало над городом Парижем.

— Ойче наш, ктурыщ ест в небе, — шептала в кулачки Зайончик.

— Теперь я хочу, — сказала Наука, рванувшись к дыре, и стала под нею как под нимбом. — Прощай, тетя Дуся. Помни наш уговор.

Террористы ошарашенно взглянули на переводчицу, которая им перевела — во всяком случае что-то сказала, на что «номер первый» совершенно истерически принялся хохотать. Наука желала себе самой что-то доказать — когда-то с Петренко у нее вышел спор, и она тогда уступила, испугавшись Валиного ножа...

Следом полезла Гордеева — тоже доказывать что-то, не себе, а другому человеку — вся в пылающих пятнах, с сумасшедшиной на лице. Отраде, конечно, трин, но в другой раз Трушина бы кликнула ее Непогодушкой, Ненастьюшком и ублажила бы Настю. Всеобщая «матка», увы, была жестоко бита и пуще того: не сбилось ничего, ваал проиграл истинному Богу и мог только сетовать, повторяя: «О горе! Ох, мне! Достался немилостивым сим рукам». Кончилось тем, что Гордеева схлопотала форвардский удар по голени и стала кататься от боли (а Науке уже хорошо было).

Юра боялся боли — собственно, кто ее не боится. Но для того, кто свято верит, что «один раз живем», боль — единственное, что

ему страшно в смерти. (Ах, не единственное? Все равно, сейчас нам не важны аргументы в пользу жизни вечных.) Предсмертные муки Григория Ивановича в Надиной передаче, жалкое зрелище, каковое являла собою Трушина, Гордеева, получившая на глазах у Юры отнюдь не понарошке — и, глядишь, становится уже не до метафизических страхов — смерти, высоты. «Мне бы ваши заботы», — говорит Солженицын Западу. «Поскорее б да полегче б, — думал Юра буднично и просто. — Надо действовать послушно».

Он безразлично смотрел вниз — на привычно белевшие корбочки (безразлично уже и ударение), на прямоугольник газона. Все надоело — он зевнул... он быстро посмотрел снова, съев зевок: странно, все было так и не так. Картинка для детей, где предлагают найти ошибку. Нашли: совершенно очевидно, что тень от шапито отдельным пятном лежит на траве, а не слилась с ним. Что это, уже начались мелкие погрешности в законах физики? Но Юра не был мистик. Демонстративно выражаемая лицом покорность — за которую ведь не может быть, чтобы не полагалось «поскорей да полегче» — сменилась иным, пускай мимолетным, интересом. Тень ползла по траве влево, слегка меняя форму. Значит, что дельфинариум, как бы это невероятно ни было, отделился от земли и продолжает плавно, почти незаметно на фоне изумрудного прямоугольника, подниматься. Дельфины спасали людей в море, но возможно ли, чтобы в воздухе они не прекращали своей благородной деятельности? У Юры дыхание сперло, маленький воздушный шарик в его груди салютовал огромному, спешившему ему на помощь. Там в гондоле сидели дельфины с лицами добрых сократов — обмундированные в форму десантников.

Он был первым, но не единственным, кто увидел это. Взлетевшему шапито, замаскированному под самого себя, не удалось остаться незамеченным. Вскоре террористы — один, другой, третий — в изумлении протирали глаза... Ну, для них-то это было однозначно: Бирнамский лес пошел на Дунсинан. Хитрость в духе израильтян — на сей раз она не удалась, их не застигнут враслох. Хотели подлететь бесшумно? За кого же их держат — там, внизу? Совсем за безмозглых скотов? Сейчас спеси у вас поубавится.

Уже глаз не только не охватывал нарисованного на шаре целиком; уже даже с отдельными деталями шагаловской росписи — Эйфелевой башней, скрипкой, избушками, вверх тормашками летящим черноволосым Юриным двойником — не справлялся взгляд, упершийся в одно какое-то цветочное пятно. Террористы поставили перед собою всех своих пленников — пленниц, вернее. Ну и Юру, разумеется. Ввиду предстоявшего боя теперь к остальным присоединился четвертый.

Шар был близок к тому, чтобы сравниться с Орленком: и он затмевал собою солнце — когда последовал огонь — по нему. Большой да дурной, говорят. На несколько минут он действительно стал для парижан ярче солнца. Но и объятый пламенем, этот потюмок монгольфьера продолжал оставаться мишенью для четверки ликующих террористов, пока не рухнул туда, откуда поднялся. Террористы, а с ними и «козлятушки-ребятушки», всем этим адом

опаленные, оглушенные, провожали взглядом горящие лоскутья. Тут-то Юра якобы услышал голос, сказавший ему очень спокойно, очень внятно: ЦШ'У. Юра подчинился, не рассуждая — рухнул на пол, как скошенный автоматной очередью, опередив последнюю на считанные секунды. Ибо в следующий момент в спину террористам ударил отряд французских командос.

Операция была задумана блестяще, отвлекающий маневр удался гениально, что позволило саперам незаметно обезвредить взрывное устройство на последнем витке лестничного штопора. «Но, мсье-дам, — говорили французам израильские коллеги, — вы же стреляете как в ганстерских фильмах — вы не видели вчера случайно по телевизору американский боевик, как его... „Мертвые хранят свои тайны“? Во киношка!»

Официальная Франция оправдывалась тем, что не было выхода, а так, по крайней мере, хоть двое остались в живых: израильский гражданин Юрий Беспрозрачный и француженка русского происхождения графиня Бальзамо, урожденная княжна Тараканова. Их, правда, спасло чудо: каким-то наитием оба с точностью до секунды кинулись на пол, словно самим Ангелом Господним оповещены были о плане операции. Недаром Юра всю жизнь потом утверждал, что ему был голос. На иврите. Нет, не мужской, но, кажется, и не женский... он не может сказать, но он точно помнит: был голос. Об этом писали. Вообще же сам инцидент с захватом заложников на Эйфелевой башне забылся быстрее, чем можно было ожидать. Арабы вяло пообвиняли евреев — в ответ Израиль, усмехнувшись, напомнил, что одного из этих «евреев» забыли обрезать — араб-христианин, верно, был. Августовская кампания под лозунгом «Отпусти мой народ» (в Англии, во Франции, в Бельгии, в Голландии) шумной обещала быть — шумной и была. Затем октябрьская кампания...

Двадцать лет пролетели как во сне. Мы проснулись, а все еще...

А все еще не может быть и речи о том, чтобы открыть причины столь странного поведения террористов — тогда, седьмого июля 1973 года. Что им было надо? Мы не вправе болтать. Между прочим, только длинный язык одного из задействованных в этом фарсе лиц превратил его в трагедию. Первоначально не готовилось никакой кровавой бани. Утверждаем это со всей ответственностью: в данном случае она не планировалась. Но когда в КГБ сидят параноики, а Мосад рискует из-за этого лишиться лучшего своего агента — тут уж сами понимаете.

Январь — март 1991

СОДЕРЖАНИЕ

Очерки о названиях

Андрей СЕРГЕЕВ. Неопубликованные главы из романа «Альбом для марок»	6
Борис РЫЖИЙ. <i>Стихотворения</i>	47
Кирилл КОБРИН. «Куча» былых времен. (<i>Лингво-физиологи- ческий очерк</i>)	59
Алексей МАШЕВСКИЙ. Сны о яблочном городе. <i>Стихотворения</i>	65

Очерки о названиях и пространствах

Александр ШАТАЛОВ. <i>Стихотворения</i>	72
Владимир САДОВСКИЙ. <i>Рассказы</i>	81
Алексей КИРДЯНОВ. Январское рандеву. <i>Стилизованный дневник</i>	88
Вадим ДЕМИДОВ. <i>Usse</i>	114
ЗЕРНОВ Д. В. ДАВЫДОВ В. В. <i>Про-заик</i>	120
В. МОРДЕРЕР, Г. АМЕЛИН. О зодиакальной семиотике раннего Пастернака	137

Очерки о пространствах

Алексей ПУРИН. Домик в Саардаме. <i>Стихотворения</i>	142
Игорь ПОМЕРАНЦЕВ. Краткий разговорник для приезжих. <i>Драматические сцены. Mit Blumen auch schön.</i> <i>Драма в одном действии</i>	146
Юрий ШИЛОВ. Прикосновение к дали	157
Леонид ГИРШОВИЧ. 7-го июля. (<i>Как птицы в парижском небе</i>)	160

**Вышли из печати
следующие выпуски альманаха «Urbī»:**

восьмой: «Новый Сизиф» (1996, 240 с.)

Поэма Владимира Маркова «2 1/2», фрагменты «Книги вымышленных существ» Х. Л. Борхеса (перевод Д. К. Хотова), проза Владимира Симонова «Антиквис», пьеса Бориса Полищука «Накануне новоселья», новеллы Владимира Садовского, Михаила Окуня и Артура Кротова, эссе, статьи и исследования Игоря Померанцева, Кирилла Кобрина, Рова (Рва?) Проворова, А. Е. Барзаха, Михаила Ивина и Натальи Быкановой, стихи Александра Шаталова, Ханса Болаңда, Sergeja Sigeja, Александра Свиридова, Полины Барсковой, Александра Кондратова, Ры Никоновой-Таршис, Александра Казанского, Павла Неклюдова, Алексея Пурина, Алексея Кирдянова, Дениса Датешидзе, Юрия Шилова и Александра Леонтьева.

***девятый: Алексей Пурин.
Воспоминания о Евтерпе (1996, 256 с.)***

Статьи и эссе, вошедшие в книгу петербургского поэта и эссеиста, рассматривают поэтический аспект русской литературы XX века, от символизма до наших дней. Написанные в 1989 — 1995 гг., они публиковались в журналах «Новый мир», «Звезда», «Нева», «Волга», «Вопросы литературы» и др.

Книга удостоена Санкт-Петербургской литературной премии «Северная Пальмира» за 1996 год.

***десятый: Игорь Померанцев.
По шкале Бофорта (1997, 144 с.)***

Книга известного поэта, прозаика и радиодраматурга, живущего в Праге, первого лауреата Литературной премии имени П. А. Вяземского (1996), открывает серию «Новые записные книжки». В сборник вошли эссе Игоря Померанцева, ранее публиковавшиеся в «Синтаксисе» (Париж), «Октябре», «Urbī» и других периодических изданиях.

**Вышли из печати
следующие выпуски альманаха «Urbi»:**

***одиннадцатый: Владимир Саговский.
Удуванчики и аромашки (1997, 88 с.)***

В книге петербургского прозаика и журналиста собраны рассказы и зарисовки разных лет.

***двенадцатый: Кирилл Кобрин.
Профили и ситуации (1997, 136 с.)***

Книга нижегородского эссеиста, прозаика и переводчика представляет собой попытку создания «текста для чтения», главными героями которого являются другие тексты, известные и малоизвестные. Эссе, вошедшие в книгу, в 1992 — 1996 гг. публиковались в журналах «Волга», «Ё», «Октябрь», «Риск», «Черновик» и альманахе «Urbi».

Книга вошла в шорт-лист премии «Антибукер-97».

***тринадцатый: Самуил Лурье.
Разговоры в пользу мертвых (1997, 248 с.)***

Книга известного петербургского литератора, лауреата премии имени П. А. Вяземского (1997) включает главным образом сочинения о *себестоимости стиля* и повествует о сложной судьбе авторов, персонажей и текстов.

***четырнадцатый:
Опыты в стихах и прозе (1997, 216 с.)***

Стихи Дениса Датешидзе, Александра Леонтьева и Василия Русакова; проза Сергея Денисенко, Михаила Окуня, Влада Пенькова, Сергея Сигея, Владимира Симонова, Юрия Якимайнена; из наследия Игоря Бахтерева и Александра Кондратова; переводы стихотворений А. Э. Хаусмана и прозы Айн Рэнд; исследования Алексея Антонова и Валерия Хазина.